

Андрей Волос

Мешалдá

Книга семейных рецептов

Ливерная колбаса

Памяти Евгения Михайловича Широкова

Шумела весна, стояла теплынь, солнце светило с яркого неба, а у нашего Мурзика была чумка, и он умирал.

Он расслабленно лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Нос был сухой и горячий. Полузакрытые глаза безучастно смотрели в стену.

Я осторожно касался пальцем потускневшей шерсти.

— Мурзик! — тихо звал я. — Мурзик!

Мурзик не отвечал. Он и прежде-то, к сожалению, не умел говорить, а теперь даже не мяукал. У него была чумка, а коты от чумки умирают.

Чтобы не нагнетать лишнего напряжения, скажу сразу, что он, слава богу, не умер. То есть что значит — не умер? Теперь-то его все равно уже нет на белом свете.

А к нам Мурзик попал совсем маленьким, чуть только не слепым. Не буду распространяться о том, каким он был славным в этом нежном возрасте. Котята все смешны и похожи: все они примерно одинаково скачут за бумажкой на ниточке, валяются по полу, кувыркнувшись с разбегу через голову, охотятся за тапочками, горбятся, грозно идут боком вприпрыжку и, припрыгав почти вплотную, вдруг, дико вытаращив глаза, по-человечьи встают на задние лапы, широко раскинув передние: точь-в-точь старый друг при случайной встрече.

Потом он вырос и превратился в большого боевого кота. В сущности, ничего примечательного в нем не было — самый обыкновенный кот самой плебейской тигриной расцветки. Серенький в полоску.

Жилось ему у нас неплохо. Холеный, закормленный, летом и осенью он был толст, медлителен и вальяжен, ступал с достоинством. Окном в мир, равно как и дверью, ему служила форточка. На кухне она почти не закрывалась, и он часами сидел в проеме, рассматривая шевеление листвы и оценивающе приглядываясь к мельтешению воробьев, а потом вылезал наружу.

Рано или поздно приходила пора возвращаться, и Мурзик, явившись из зарослей палисадника, молча вспрыгивал на оконный карниз. Окна первого этажа в нашем большом трехэтажном доме были забраны решетками. Несколько секунд он топтался, глядя на форточку, примеряясь и нервно перебирая лапами. Наконец решительно прыгал, норовя попасть головой в одно из ромбических отверстий решетки, и, если это удавалось, неистово продирался внутрь, скребя когтями, мучительно сплющиваясь, кособочась и на воровской манер протискивая плечи — по очереди.

В середине зимы Мурзик начинал гулять. Скоро бока западали, глаза на сухой морде светились сумасшедшим огнем, весь он покрывался болячками и шрамами, совершенно терял рассудок и превращался в жалкое безмозглое существо, способное только пьяно орать по ночам.

Зато когда он теперь ненадолго заглядывал домой (вроде как на побывку: помыться, побриться, вообще передохнуть в кратком промежутке между боевыми действиями), — решетка уже не представляла для него серьезного препятствия. Он змеился сквозь нее словно куница.

Мама встречала его сердитыми попреками:

— Пришел! Явился — не запылится! Где шлялся три дня, дурак старый? Гуляешь все! Смотри, догуляешься! Прибьют тебя где-нибудь!..

Мурзик ковлял за ней по кухне, с яростным мурлыканьем бодал ноги. Наконец мама ставила на пол мисочку. Сиротски выставив острые лопатки, он припадал к ней, пожирая ливерную колбасу: косился по сторонам, жевал, глотал, давился, хрустел попадавшимися на зуб жилами и закрывал от усилий глаза, выворачивая голову.

Когда миска пустела, он еще некоторое время одурело сидел перед ней. Потом отходил, пошатываясь, брел в комнату, садился возле шкафа. Начинать было послеобеденный туалет, вылизывал один бок. Но тут силы его окончательно покидали, и Мурзик засыпал по-солдатски — то есть где сон сморил, там и повалился.

* * *

Надо сказать, что сейчас, много лет спустя, вспоминая, как он вспрыгивал на колени, как щурился и вытягивал пушистую шею, если кто-нибудь из нас почесывал ему подбородок и горло, — или как ярился, суживал глаза и бил лапой: играя с ним, я подчас доводил его до последнего градуса бешенства, и в его злобном взгляде начинало сквозить сожаление, что он не может стать на минуточку тигром, чтобы меня сожрать, — представляя себе его сытую степенность, невозмутимую холодность, барскую походку и то искреннее изумление, которое неизменно воцарялось на усатой физиономии, когда он обнаруживал, что опять кому-то до него есть дело, — представляя себе все это, я не могу отделаться от ощущения, что речь идет не о коте, а о человеке.

Так устроено воображение. Мы не могли бы испытывать к животным ни любви, ни жалости, если бы не полагали, что они мыслят и чувствуют примерно так же, как мы сами: как люди, но люди небольшого роста и не вполне самостоятельные, забывчивые, требующие нескончаемых напоминаний и повторов одного и того же даже в тех случаях, когда, казалось бы, все можно отлично запомнить с первого раза; о которых всегда приходится заботиться и наставлять на путь истинный. Люди — но как будто не взрослые. Короче говоря, мы числим их детьми.

Вот, например, однажды наш экспедиционный шофер поймал сурка. Сурок — это большой смысленный зверь, толстый в зад; вид у него такой умиротворенный и разнеженный, будто он только из-за праздничного стола. Обычно они сидят возле нор

и посвистывают. Этот замечтался, уши развесил на солнышке, а когда спохватился — поздно, его уже в мешок сунули. Шофер радовался — дуриком получилось.

Солнце садилось, степь розовела, холмилась, тени вытягивались по траве. Мы были возбуждены — еще бы, удача такая, на шарап сурка поймать, — громко хлопали дверцами «буханки», покрикивали, и голоса по равнине летели далеко-далеко.

Сурка вытряхнули из мешка, все равно из закрытой машины бежать было некуда. Он забился в угол. Поглазели мы на него и еще немного посмеялись. Шофер даже немного подразнил палкой, и сурок бросался и фыркал, а шофер хохотал. Потом сел за руль, я рядом, машина поехала.

Поначалу медленно поехала, переваливаясь, подпрыгивая на кочках. Но скоро выбралась на дорогу получше и прибавила ходу — все дальше и дальше от того места, где сурок жил прежде.

И было это для него, должно быть, очень страшно.

Он сел столбиком, как сидел раньше возле норы, только теперь ему это с трудом удавалось, потому что машину трясло и качало, и он то и дело чуть не падал набок, переступал и горбился.

И вот он сидит так, прижимая лапы к глазам, из которых текут слезы, трет их кулачками и горестно вскрикивает:

— Ма! Ма! Ма!

Ну просто все равно что «мама»!

Так мы ехали минут пятнадцать или даже меньше, а потом шофер — суровый, даже жестокий человек, много всякой гадости повидавший на своем шоферском веку, — вдруг остановил машину:

— Да ну его к черту, крикуна! Давай выгоним!

И я обрадовано согласился:

— Да конечно, ну его к черту!

А все дело было в том, что, когда шофер за ним охотился, сурок только царапался и бился и вовсе не был похож на человека. А теперь стал похож, да так, что мурашки по коже. Мы оба его пожалели, но друг перед другом, как это бывает, жалости своей показывать не хотели. Поэтому вылезли из машины нарочито шумно, чертыхаясь, — вот, мол, из-за всяких дурацких сурков то и дело останавливаться, когда времени нет, — грубо затопали по сухой пыльной земле сапожищами. А сурок свое:

— Ма! Ма!

И кулачком слезы вытирает.

— Вот же гад, а! — сказал шофер и полез в задний отсек открывать дверь, зашумел там: — Иди, иди, пошел вон, иди отсюда!

Сурок прыг в проем, и шеметом по степи, кидая задом.

Шофер ему злым голосом кричит:

— У, сволочь жирная!.. Надо было тебя сапогом, чтобы знал!

И долго мы еще вслед его дружно материли.

А потом сели в машину и поехали дальше, смеясь.

А если бы не увидели в нем человека, сурку пришлось бы худо: кричи не кричи, а довели бы его до места, там бы убили, из шкуры сделали шапку, а сало вытопили и пользовали легочных больных.

* * *

Это длинное отступление понадобилось мне только для того, чтобы никто не подумал, будто я совершаю какую-то ошибку, написав: а все-таки странный он был человек, этот Мурзик!

Нет, ну правда. Мы, люди, относились к нему совершенно так же, как если бы он был человеком. Он к нам — иначе. Грубо говоря, он, со своей стороны, не хотел признавать в нас котов. И вот убей меня, я до сих пор не могу понять, чем же мы были для него нехороши.

Казалось бы, стоит ему на минутку задуматься, как все станет ясно: кто какую степень эволюции занимает, кто какую роль играет в прогрессе, кто, в конце концов, венец творения, а кто всего лишь мелкая зверушка, начисто лишенная такого необходимого в быту чувства, как благодарность.

Мы его кормили, поили и давали кров. (Положим, всем этим занималась мама, я только менял песок в ящике, но в данном случае это неважно.) Мы обращались к нему уважительно, по имени. Если вспомнить все, что мы для него делали, перечень займет целую страницу.

И — хоть бы хны!

Пусть бы это был какой-нибудь незначительный, мелкий знак, свидетельствующий о том, что он благодарен, что понимает, чем обязан, — мы были бы удовлетворены.

В сущности, ему легко удалось бы даже нас обмануть, представ в образе такого романного героя: с виду мрачный затворник, кичащийся независимостью и одиночеством, а внутри в высшей степени доброе существо, всегда готовое отдать последнюю рубашку и защитить от хулиганов. Для этого ему нужно было сделать хоть малую уступку.

Увы, нет — он и лапой не пошевелил.

Он прямо не хотел родниться, не собирался идти нам навстречу, он и не думал снисходить. Он вообще не желал иметь с нами ничего общего, кроме еды и дома, и ни лезть, ни даже ветчина не могли склонить его к признанию того факта, что все-таки мы немного похожи.

А если кто-нибудь начинал ему что-нибудь в этом духе выговаривать, Мурзик, подремывая после сытного ужина, но прекрасно понимая, о чем идет речь, мог, конечно, ненадолго разлепить свои наглые, рассеченные грифельными зрачками глаза. Но при этом отнюдь не поворачивал головы в сторону говорящего, не устаивал его взглядом. Просто смотрел сквозь эти свои щели куда бог привел, — на пол так на пол, на миску так на миску, и на его недовольно насупленной морде отчетливо читалось: когда ж ты наконец заткнешься!

Но если поток беспокоящих слов не прекращался, он, так и не раскрыв глаз хоть немного шире, нехотя поднимался, вспрыгивал на форточку и был таков.

* * *

На чем основывалось его сознание бесконечного над нами превосходства?

Бытует мнение, что кошки — мудрые животные. Один мой приятель в доказательство этой точки зрения любит рассказывать о своем коте историю, которая якобы свидетельствует о его, кота, безграничной мудрости и в какой-то степени о мудрости кошек вообще.

История сама по себе очень простая. Уж я не знаю, какая была нужда, но как-то этот мой приятель лежал среди бела дня в постели с женщиной. Излагая

историю, он всегда умалчивал, что и в какой последовательности выделывал, только когда в конце концов угомонился, с понятным стыдом и трепетом заметил вдруг, что прямо над его головой на шкафу сидит кот и с ленивым любопытством наблюдает происходящее.

— И в его глазах, — говорит в этом месте мой приятель, и голос его подрагивает от нешуточного волнения, — я увидел такую мудрость, такую ласковую снисходительность, такую мягкую насмешку! Такое можно было бы прочесть разве что во взгляде отца, следящего за тем, как резвятся его глупые дети! Казалось, он говорил: да, что делать, жизнь такова, она и впредь будет подсовывать вам множество самых никчемных занятий. Как мне винить вас, несмышлениши! Все пройдет со временем, а пока... пока вы юны, глупы и беззаботны, кровь туманит ваш слабый мозг, опыт еще не остудил сердец. Хотелось бы, конечно, чтобы вы не плодили ненужных иллюзий и не думали, будто занимаетесь чем-то важным... ведь и это пройдет, как прошло многое, слишком многое... но пока — пока гуляйте, ребята!..

Вот каким содержательным взглядом смотрел кот со шкафа на моего приятеля.

Не знаю. Мудростью мы не мерились, а вот ограниченность своего ума Мурзик выказывал неоднократно.

Так, например, он панически боялся кофемолки. Зато, как только представлялся случай, ярился и вопил, порываясь вступить в честный поединок с маминной мутоновой шапкой, коей то ли запах, то ли цвет приводил его в неистовство. Должно быть, он полагал, что им двоим — ему и шапке — тесно на земле, почему и стремился ее немедленно задушить. Шапку прятали, тогда он успокаивался и горделиво расхаживал, будто безжалостный бой уже состоялся, и он вышел из него победителем.

Или вот нашел я однажды в горах здоровущий выползок — змеиную шкуру, сброшенную во время линьки. Она была длинная, сухая, полупрозрачная, блестящая и при каждом прикосновении издавала скрипучий шорох. Я скатал ее рулончиком и сунул в карман.

Когда дома я бросил ее на пол, и она начала с опасным похрустыванием разворачиваться, Мурзик тут же взлетел на книжный стеллаж.

— Ну что ты, дурак, — сказал я, смеясь. — Это же просто шкура, она не кусается!

В качестве доказательства я пошевелил ее ногой. Она снова захрустела и зашевелилась во всех направлениях, а Мурзик обреченно напрягся и завел с верхотуры боевую песнь. Судя по всему, он решил живым не даваться и готовился продать жизнь подороже.

Но даже и в этот момент, изготовившись к самому худшему, он все же предпочел остаться независимым: не бросился ко мне за помощью, не прижался к ногам, как сделала бы в подобной ситуации собака.

Что говорить! Собаки видят в людях себе подобных, и такой взгляд ничуть не оскорбителен, а кошки — нет, и почему-то это обидно.

В конце концов он спустился, подошел, обнюхал ее и даже потрогал лапой. И сделал все это сам, о чем недвусмысленно напомнил мне победно задранный подергивающийся хвост, когда Мурзик одарил меня таким взглядом, словно это не он, а я битый час торчал на стеллаже, и пошел прочь.

Все бы на том и кончилось — то есть он удалился бы победителем, а я со своим дурацким выползком остался посрамлен, если бы Мурзик избрал иной путь отступления.

Он мог идти в любую сторону по ровному полу, но решил зачем-то двинуться так, чтобы переступить через перекладину ножки пианино.

Может быть, это был еще один укол, еще одна демонстрация, что ему вообще-то на все наплевать, ничего он не боится и ни на что не хочет обращать внимания, и на шкуру эту ему наплевать, настолько наплевать, что и пойдет-то он от нее не как ходят нормальные люди, а с таким вот вывертом, через ножку пианино, потому что он что хочет, то и делает, как ему нравится, так и ходит, и еще не хватало, чтоб ему указывали, как ходить.

И он начал переступать, и виртуозно переступил передними, и даже одной задней отлично переступил, а с последней как на грех что-то пошло не так, и он ею легонько зацепился за то, что переступал.

Конечно, это было не совсем обычно, никогда прежде он ни обо что не запинался, а тогда, должно быть, нервное напряжение сказалось. Но в иной ситуации никто бы на такой пустяк не обратил внимания. Ну, зацепился и зацепился, подумаешь, большое дело, он же нечаянно, он вообще-то сто раз мог бы переступить и ни разу не зацепиться, совершенно случайно получилось, забудем, и дело с концом.

Но тогда ему, судя по всему, представилось, что зря он так легковесно отнесся к этой опасной змеиной шкуре. Теперь-то понятно стало, как он ошибся: притворно дав себя обнюхать и даже пошевелить, она спрятала коварство за своей кажущейся неподвижностью, усыпила бдительность, а когда он так неосторожно отвернулся, чтобы идти по своим делам, она ожила, бросилась и смертельной хваткой схватила его за лапу!

И он снова взвыл и снова бросился на стеллаж...

Вот такой он был странный человек, этот Мурзик: просто глупый сноб, презиравший людей за то, что они не являются кошками.

* * *

А теперь у него была чумка, и он умирал.

Немного утешить нас могло только то, что сам он, по крайней мере, не знал об этом — ведь животные не имеют представления о смерти.

Хотя подчас мне приходит в голову, что идея насчет того, что животные не имеют представления о смерти, выдумана, чтобы оправдать легкость, с какой мы относимся к их жизни.

Ну, в самом деле, у кого бы поднялась рука даже на барана, если определенно знать, что пусть и бессмыслен этот баран, косящий розоватым выпуклым глазом, а все же и он, помертвев от испуга, возносит сейчас последнюю молитву? Человек, нарочно повязавшийся заскорузлым покоробленным фартуком, подойдет к нему, повалит наземь, больно придавит коленом и станет с силой водить ножом по горлу, пока наведенное только что лезвие не прорежет кожу и не вопьется в плоть. Там уж недалеко до артерии — и кровь пылко ударит на воздух, в первый момент позванивая, словно молоко в подойник, а уж потом широкой струей разбредаясь по соломе...

Кто бы смог это сделать, зная, что мохнатое четвероногое так же боится смерти, как и он сам? Только убийца.

А раз нет, люди легко обращаются с их жизнями — кормят, растят, лечат, а потом возьмут и зарежут. Даже и поговорка есть на этот счет: скотина нож любит.

Вот и Мурзик — умирает, но не знает об этом.

Его жалко, очень жалко. Но все же не так, как было бы жалко человека. Потому что человек — знает, он — лицом к лицу. А Мурзик — нет, он не может этого знать. И хорошо.

Но однажды Мурзик заплакал.

Он лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Дыхания не было слышно. Полузакрытые глаза смотрели куда-то в стену. Веки подрагивали. Вот еще две слезинки выкатились и сбежали по шерстке, оставляя влажный след.

Он умирал и плакал, хотя должен был оставаться равнодушным, и это было необъяснимо...

Плакал он зря, потому что на роду ему было написано выздороветь.

Неизвестно, что оказало действие: таблетки ли, которыми пичкала его мама, или молоко, которое она вливала в него пипеткой, или то, что мы не забыли о нем, не бросили одного бороться с хворью, — но слабенькая, тонкая ниточка стала понемногу крепнуть, утолщаться. Вот он перевалил какой-то рубеж, что-то в нем переменялось. Вот начал пошевеливаться. Вот стал широко, как раньше, раскрывать глаза.

Однажды вечером Мурзик самостоятельно прыгнул с дивана и побрел на кухню, едва ковыляя на подламывающихся лапах.

— Мяу! — как будто немного смущенно сказал он, появившись из коридора.

Мы так обрадовались, что мама даже уступила ему свое место. Я подхватил его с пола и осторожно усадил на яхтан, а она примостилась к папе на сундук.

Мы ужинали.

Мурзик сидел на выючном ящике, моргая и немножко покачиваясь от слабости.

И вдруг в кухне появилась мышь.

Настоящая мышь!

Я не знаю, откуда и, главное, зачем она выскочила к нам в столь неподходящее время.

Может быть, это была оголтелая любительница котлет, не сумевшая побороть соблазна. Или у нее были здесь какие-нибудь срочные дела. Не исключено, в конце концов, что она решила покончить с собой — и выбрала почему-то именно такой, для всех нас мучительный способ.

Даже если она не была безумной с самого начала (в чем у меня и по сей день остаются сомнения), она неминуемо должна была обезуметь от встретивших ее света, шума, запаха и присутствия кота.

Так или иначе, она принялась метаться из угла в угол.

— Мышь! Мышь! — закричали мы хором.

Мурзик смотрел на нее в немом изумлении. По-видимому, он не мог и помыслить, что за время его недуга либерализация отношений между людьми и мышами достигнет таких высот, что эти серенькие создания начнут совершать прогулки прямо во время ужина.

У него не было сил прыгнуть. И он имел полное право не прыгать. Он был так слаб, что в любом случае поединок с мышью следовало отложить, поскольку сейчас исход его был непредсказуем.

Однако он шагнул к самому краю ящика, и когда она в очередной раз семенила вниз, Мурзик повалился сверху.

Плюх!

Он лежал на полу, нелепо растопырив лапы, и смотрел на нас.

Этот взгляд не был ни безразличным, ни просительным.

Он все знал, этот Мурзик. Знал, что должен был умереть. Знал, что мы спасли его от смерти. Он был в долгу. Но теперь отплатил.

Он лежал на полу и смотрел вверх, на наши лица, моргая и тяжело дыша не то от волнения, не то просто от чрезмерного усилия.

Он хотел знать — видим ли мы, что он поймал для нас мышь?

Мы видели.

Больше он не болел, и нам не приходилось спасать его от гибели.

Какой была его настоящая смерть, я не знаю. Прожив бок о бок с нами двенадцать лет, Мурзик ушел, когда папа с мамой переехали на новую квартиру. Он исчез на третий день — разумеется, не попрощавшись.

Мама заглянула в старый двор. Стоило ей покликать, как он появился и подбежал, радостно мурлыча. Она посадила его в сумку и вернула к месту новой прописки. Он исчез тем же вечером.

А когда она пришла за ним снова, Мурзик выглянул из зарослей пыльного палисадника, приветливо посмотрел на нее, извинительно мурлыкнул, но в руки уже не дался.

Блюдо зелени

Бабушка жила, где и прежде жила, а мы теперь не на старой квартире, а на новой: дальше от бабушки, зато ближе к аэропорту.

Аэропорт всегда занимал в жизни значительное место. Ранним утром, когда московский ИЛ-18 выходил на рулежку, даже до Бехзод долетал рев двигателей. А бывало, что и стекла подрагивали.

В новой квартире было еще слышнее. Папа получил ее, став начальником. Когда я улетал с зимних каникул первого курса, мы жили еще на прежнем месте. А уже летом после кавказской практики я пришел к новому дому.

В принципе меня ждали, разумеется. Но я не стал сообщать, когда именно буду. Я не хотел, чтобы меня встречали. Зачем? Нет, ну а что такого, вот еще глупости, не пацан какой, чтобы охи да ахи, серьезный мужик с рюкзаком, пропыленный, пропотелый, просоленный, прохваченный всеми ветрами, хлебнувший жизненных невзгод скиталец. Что его встречать, вот уж большое дело, просто смешно, он уж видывал виды, он и сам отлично доберется. Хоть теперь и близко, да не имеет смысла лишний раз таскаться к рейсу. Адрес есть же? Дом, этаж, квартира — все известно. И ноги пока на месте, двадцать минут, и все дела.

Вот новый дом, вот подъезд, вот этаж, ага — вот и квартира.

Бац!

Мама с папой тем вечером ушли на чей-то юбилей.

Сначала я обзвонился, обстучался, а потом сидел как дурак со своим рюкзаком на лавочке у сухого хауза в бесконечном ожидании.

Было семь вечера, потом восемь, потом девять и так далее.

Я все сидел и сидел.

Если прибавить разницу во времени, я почти сутки был в дороге. Уже в половине шестого мы ехали в Орджоникидзе, позевывая и содрогаясь от утренней свежести.

Нас было шестеро: пятеро до вокзала, а я метил на автостанцию, откуда по слухам ходили автобусы до Минеральных Вод.

Полчаса мы тряслись в кузове грузовика. Мы ехали к вокзалу небольшой тесной компанией однокашников. И казалось, что братское единение страдает от каждого толчка, несет урон на всякой колдобине. Как будто к вокзалу везут не студентов, закончивших практику, а большую льдину. Полчаса назад ее грузили целой, а теперь она колется на каждом ухабе. Удар, еще удар. Льдина трещит, скрежещет, трескается

и разваливается. Шесть ее обломков по привычке норовят прилепиться друг к другу, но увы! — неумолимое течение растаскивает их в разные стороны.

Мы еще балагурили, стараясь попасть в тон, и даже кое-как попадали. Но все чаще промахивались.

А ведь каких-то три часа назад, уже под утро, когда мы, прощально хмельные, разбредались по палаткам, он, этот тон, в каждой своей ноте был верным: в нем сквозила наша спаянность, наше презрение ко всему, кроме дружбы.

Но грузовик трясло, а течение напирало.

Через полчаса пятеро спрыгнули у вокзальной площади. Я махал им, высунувшись из кузова. А когда машина тронулась и они пропали за углом, я почувствовал облегчение, какое испытываешь, избавившись от чужих, ненужных тебе людей.

Настоящие мои друзья собирались сегодня же пешим маршрутом двинуть до Тбилиси. Большой спешки не предполагалось, но ведь и не совсем нога за ногу. На двести километров положили неделю. Начальник практики Миша Чаплыгин ссудил две палатки и варочное ведро, а миски у всех были свои.

Когда из моей жизни выпали у вокзала даже эти ненужные пятеро, я почувствовал болезненное сжатие сердца.

Но, конечно же, я затосковал не о них. Что мне было тосковать об этих пятерых вокзальных. Они умчались по своим надобностям, их тянуло в разные стороны. Всех нас тянуло в разные стороны.

Нет, я затосковал о себе: ведь мне-то нужно было с ребятами по ВГД¹!

А перевалив хребет, — попутками к Батуми или Сухуми, к морю... а уж на море как получится, покантоваться дня три или на сколько хватит деньжат, а потом и по домам, — вот как мне надо было сделать!

И тогда все бы еще некоторое время продолжалось. Горел бы костер, брэнчала бы гитара, Валера Киселёв пел бы свое знаменитое. Мы бы дружно подхватывали: нас мочили дожди!.. нас сушили ветра!.. нас манила к себе с лысой плешью гора... а потом уж отчет, а потом на зачет, только кто о нас вспомнит и кто нас прочтет.

Вот о чем я мимолетно тосковал, колотясь в кузове грузовика, пробиравшегося по тряским улицам города Орджоникидзе.

Но ничего не поделаешь, я давно обещал родителям приехать к определенному сроку.

На автовокзале первым делом взял билет, потом съел большую булку, оказавшуюся пресной, но на удивление вкусной, и скоро сел в автобус.

Поначалу я усиливался смотреть в окно. Там все было интересно. Но не интереснее того, что я уже видел. Часов через пять меня растолкали на автостанции города Минеральные Воды.

Человек почти всегда разрываем двумя разнонаправленными стремлениями: одно диктуется жадностью, в другом сочетаются лень и стремление к лучшему. Когда я спросонья вывалился, первое понуждало меня метаться по людной площади между автобусами и маршрутками, заполошно ища экономической выгоды. Но я взял себя в руки, разумно поддался второму и сел в такси.

И правильно сделал, потому что иначе опоздал бы к рейсу и сегодня уж точно бы не улетел...

Сейчас, сидя в темноте у пустого хауза, опершись спиной о рюкзак и вытянув ноги в длину скамейки, я думал, как хорошо, что мне удалось побороть скудость.

¹ Военно-Грузинская дорога (*прим. редакции*).

Я заранее подробно выяснил, сколько это будет стоить. Таксист был недоволен моей скрупулезностью и немного насмешничал. Но все же мы определились: два с полтиной по счетчику и рубль сверху. По его словам, это было не просто по-божески, а баснословно дешево, буквально даром. Потому что все берут три, говорил он, вот и считай, два с полтиной счетчик и трояк сверху, а если не нравится, так иди ищи, машин полно, говорил он, широко обводя рукой площадь, на которой сейчас как назло стояли одни маршрутки и автобусы. И хоть я договорился с ним заранее, а все же потом всю дорогу думал, что будет, если счетчик набьет больше, деньги у меня были совсем на исходе и посчитаны до гривенника.

Но если бы я поехал автобусом, то не успел бы к сегодняшнему рейсу. Следующий завтра, а между тем курортная пора, горячее времечко, минвоводский аэропорт единственный во всем регионе, никто не знает, что там с билетами на завтрашний, и я бы проторчал в зале ожидания минимум сутки, а сколько на самом деле — одному богу известно.

Мне еще не приходилось подолгу коротать время в аэропортах, но я заранее знал, каково это, да и знать тут особо нечего, все и так ясно. Ты сидишь, время стоит, ничто не меняется. Все вокруг давно выдолблено наизусть, все продавщицы тебя узнают, ты узнаешь всех милиционеров. В меню кафетерия коржики — ох уж эти коржики, пирожки с картошкой, колбаса «Молодёжная», чай азербайджанский натуральный, кофе из цикория, вчера была ветчина, завтра завезут воблу. То же касается и киоска периодической печати: и когда открывается, и когда закрывается, и что в нем есть, а чего нет, и чего только сегодня нет, но иногда бывает (даже вот на прошлой неделе было), а чего ни сейчас нету, ни вообще отродясь о таком тут не слышали.

Привычная ходьба из одного конца здания в другой и обратно мимо этого самого киоска, мимо небольших толкучек у стоек регистрации. Вот сейчас этих взбудораженных пассажиров поведут к самолету, и они улетят, счастливчики. Мимо кафетерия, мимо багажного отсека. Минут пять потаращиться на панно торцовой стены, где на гипсовой карте от красного кружка аэропорта по всей стране расходятся, будто от лампочки, желтые лучи обслуживаемых маршрутов: вон аж куда можно залететь, ну ни фиги себе. Развернуться и назад к своей лавке — снова мимо багажного отсека, кафетерия и временно опустевших стоек регистрации.

А иногда для прогулки выходить на улицу и в сотый раз нехотя рассматривать ничем не примечательные окрестности. Ну, вышел, и что, все как везде, там, как обычно, самолет рулит, здесь, как обычно, автобусы, вот и весь чарующий пейзаж, в сотый раз он мозолит тебе глаза, пока ты куришь, дыша пованивающим соляным выхлопом свежим воздухом.

Причем если, несмотря на справедливо ожидаемое однообразие, все-таки выходить, то нужно либо тащить с собой осточертевший рюкзак, либо решаться на то, чтобы бросать его где лежит, оставлять минут на десять без присмотра, и тогда всякий раз волноваться, не соблазнит ли он кого-нибудь на воровство — при том что вообще-то стороннего человека вид твоего рюкзака может соблазнить лишь на мысль держаться от него подальше. Но ведь ты не сторонний человек, вы с ним не чужие: он тебе родной предмет, а ты ему близкое существо, поневоле заволнуешься.

А потом и к этому привыкнуть, и тогда уж, возвращаясь, отмечать, что нет, опять не попятит, никому здесь не нужен твой рюкзак, даже странно, а ведь почти новый, только засален и чуть прожжен на боку, а так-то очень даже. Но что делать, ведь и правда в нем ничего путного, грязные рубашки, ношенный свитер, что еще берешь с собой, собираясь в дальнюю дорогу, старые стельки, еще какие-то мелочи.

А потом однажды подойти и обнаружить, что его нету.

Все-таки нету! Все-таки украли!

И озираться с колотящимся сердцем, уже понимая, что зря ты теперь озираешься, что теперь попусту озираться, раньше надо было думать, свитер-то совсем хороший, почти новый свитер-то, да и вообще масса полезных вещей, стельки какие были, теперь таких не найти, как жалко-то, господи, и разве теперь отыщется, вон ходит мент, да разве они из-за чужого рюкзака пошевелятся!..

И вдруг с облегчением осознать, что ты уже настолько обалдел тут от безделья и нескончаемости времени, что перепутал входные двери: выходил от регистрации, а вошел где прилет, вон твоя лавка, вон и рюкзак твой, так что все в порядке, никому он и в самом деле не нужен, ну надо же, даже обидно.

А может быть, наоборот, именно этой ночью и именно в этом аэропорту мне бы кто-нибудь встретился, и эта встреча повернула бы что-то в судьбе, и тогда вся жизнь потом пошла бы иначе, по-другому. Только нельзя сказать, лучше бы она пошла или хуже, ведь чтобы знать точно, нужно дважды прожить одно и то же, даже лучше раза три или четыре, чтоб уж наверняка и без промашки. Но ведь это невозможно, а так-то что ж, и на самом деле случались встречи, в результате которых жизнь, наверное, поворачивалась, но ведь если не живешь два раза, то ничего не можешь об этих встречах сказать, ты их вовсе не замечаешь, просто живешь насквозь, как нож или пуля, и все будто так и надо: если бы не было этих, наверняка случились бы другие, и никто не знает, где бы тогда ты был сейчас.

Но я взял такси, а кудрявая кассирша только как-то там пошутила насчет везунчиков и выписала последний билет.

В общем, все лепилось одно к другому — без зазоров и весело.

Я с наслаждением слушал звуки дугара, рубоба и Пугачёвой, доносившиеся сквозь гул и дребезг, издаваемый в полете воздушным лайнером. И все просил воды, надеясь унять голод и недоумевая, почему нас и впрямь чем-нибудь не покормят. А когда наконец это случилось, съел все подчистую.

Я съел третью морковку с прилагавшимися к ней двумя маслинами. Я съел самолетную часть с рисом и два тонких кусочка хлеба. Я съел двадцать граммов масла в индивидуальной упаковке, какого не бывает в магазинах. Я съел даже коржик с арахисом, а пакетики с солью, перцем и влажной салфеткой вытереть руки перед едой положил в карман, чтобы выкинуть, как обычно, двумя месяцами позже.

Да, коржик, вот-вот. Так и было, именно так, я съел даже коржик. Я сто раз подумал, перед тем как совершить этот безрассудный поступок, и все-таки купился. Долго колебался, но все-таки съел. И потом снова убедился: папа не зря говорит, что самолетные коржики делают исключительно для изжоги.

Теперь августовская жара немного спала, и я сидел на скамейке у хауза.

В его бетонном прямоугольнике не было воды. Хауз был мелкий, декоративный. Из середины торчала труба фонтанной арматуры. По идее, если бы вода была, пышная струя благодатного фонтана дарила бы сидящим возле него веяние прохлады.

Но воды не было. В городских хаузах почти никогда не бывает воды. Не исключено, что она испаряется, не успевая толком накопиться. Вода есть в арыках. Арыки — те журчат по всему городу. Сухой арык удивляет, а сухой хауз нет, сухой хауз обычное дело.

Вот и здесь детишки прыгали в него, используя как окоп, и безжалостно строчили друг в друга из-за бетонного бруствера: та-та-та-та-та-та!

Они верещали двумя компаниями: в смешанной и орала по-всякому, часто и по-русски, другая была чисто таджикская, там вопили по-таджикски.

Мама говорит, что, когда мы жили на Мирзо-Ризо, я, четырехлетний, запросто болтал во дворе с друзьями-таджичатами. Если бы не забылось, я и сейчас мог бы перекинуться с ними словечком.

Но я лишь ловил отдельные слова. *Хона*. Вот опять *хона*. Ну, понятно, дети ведь часто говорят о доме. Обычно хвастаются, мол, у меня дома то, а у меня это. Еще *об*. Вот снова *об*. *Об, об*. Может быть, дети сетовали, что в хаузе нет воды. Толковали друг другу, что, если бы была вода, они бы тут же в нее залезли, так что очень жаль, что ее нет. Трудно сказать, так ли на самом деле, смысла в целом я не понимал.

Время от времени кто-нибудь из них исчезал. За их мельтешением вообще было трудно уследить, а уж тем более отметить отдельное исчезновение. Не зря ведь говорят о капельках ртути. Подчас они сбегались кучкой и явно не просто так затихали и шушукались. Но у них не находилось времени изобрести сколько-нибудь серьезную каверзу, они не успевали, потому что тут же нужно было с воробьиной шустростью пырхнуть в разные стороны и завизжать заново.

Тот, что на минутку скрывался в подъезде, непременно выносил что-нибудь съестное: пирожок, яблоко или просто кусок лепешки. Некоторое время он на бегу размахивал добычей. А вопил хоть и невнятно в силу забитости рта (да еще и то и дело из него что-нибудь падало), но с прежним энтузиазмом.

Другие, как правило, не обращали внимания на его совершающийся в боевых условиях мимолетный перекус.

У нас было иначе: если кто-нибудь выходил во двор с чем-нибудь съедобным — это мог быть, например, кусок хлеба (а то и не просто, а намазанный маслом и посыпанный сахаром, тогда он шел почти за пирожное), мы сбегались к нему, галдя, как стая гусей. Он законно упрямылся, мол: «Сорок один, никому не дадим». Мы, его верные товарищи, настаивали на обратном: «Сорок семь, давай всем». Ритуал такой был, а уж что там кому в итоге доставалось, не имело большого значения.

Впрочем, думал я, как ни томит голод, но даже если бы мне помнился таджикский, я бы не стал, наверное, клянчить у этих счастливых.

Вообще-то давно уж следовало подхватить рюкзак и отправиться к бабушке, она бы накормила. Да и ночевать я мог у нее остаться.

Но ведь так всегда. Вот-вот, думаешь, они придут. Еще пять минут посижу, потом уж. Ладно, еще десять. Вот-вот ведь. Может они уже вышли из троллейбуса... опять нету. Ну хорошо же. Вот еще десять минут. Уже тогда окончательно разозлюсь. Тогда уж ничто не остановит. Вот как бог свят, возьму рюкзак и двину на остановку!.. Все, время пошло.

Время пошло — и время вышло.

Ну?

Ага, а вдруг я только за угол, а они тут как тут?..

Заголубли жаркие сумерки. Быстро стужаясь, они приносили в детское веселье надрывную, даже трагическую ноту. Тьма грозила смертью их родству и радости, и дети скакали и бегали с удесятенной силой, рассчитывая напоследок так навеселиться, чтобы потом ни о чем не жалеть, чтоб не томили бесцельно прожитые годы.

Но перед смертью не надышишься, тени их тщетно металась во мраке, а над ними, люминесцируя в ртутном свете фонаря, с такой же неутомимостью металась летучие мыши. Только мыши совершали свои судорожно-трекмерные скачки и зигзаги в математическом безмолвии, а дети вопили, ревели, верещали и орала как резаные.

Так, наверное, стимулируют умирающего, если хотят напоследок чего-нибудь от него добиться. Ничто уже не сможет продлить жизнь, но давайте вколем еще ампулу: может быть, все-таки скажет, где горшок с золотом.

Когда крещендо этой какофонии достигло самой высокой и оглушительной ноты, ответно грянуло откуда-то сверху.

Иной бы с облегчением подумал, что небеса наконец вняли. И даже ответили. Но нет: это всего лишь матери с похожими воплями принялись голосить из распахнутых окон или даже повыскакивали на балконы.

Через пять минут всех загнали.

Им пора ужинать, печально думал я. Интересно, чем их будут кормить...

Я лег на скамейку, пристроив голову на рюкзак.

Двор был почти гол — понятно, новостройка, жители только вселились. Эта сторона дома смотрела примерно на северо-восток, все уж давно было в тени, а теперь и в темноте, но накопившийся за день жар тек со всех сторон, накатывал волнами, словно кто-то колыхал сверху огромным, вполнеба, медленным полотнищем.

Я лежал и смотрел в небо. Кое-где на нем проступили тусклые звезды, сумевшие пересилить мусорный городской свет. Тем, что помельче, вовсе не удавалось пробиться.

Время от времени во двор въезжала машина. Из-за дома доносилось беспрестанное погуживание грузовиков и легковушек, а то еще завывал троллейбус, набирая скорость.

Там была улица Дониш. Одним концом она упиралась в аэропорт, другим — в улицу Айни.

Я откуда-то знал, что Мухаммад Дониш — это просветитель. Улица Дониш по-таджикски была *кучаи ба номи Дониш*. Больше я ничего, кажется, не знал. *Хона, об. Обигарм*, куда ездят кататься на лыжах, я и сам сколько лет ездил. *Оби гарм* — это горячая вода. Горячая, потому что там источники. Курорт Обигарм. *Хона, об. Тереза, талаба. Кучаи ба номи Дониш*.

По улице Дониш я пришел из аэропорта.

Пришел я из аэропорта и сел на скамью у сухого хауза.

Я смотрел на тусклые городские звезды и представлял, какими разносолами встретили бы меня, сложись все чуть менее трагично.

Собственно, лежать на пыльной скамейке было не так плохо, я постелил штормовку, а уж в ней-то где только не приходилось мне валяться.

Прежде детишки не давали покоя, теперь в тишине я начинал подремывать. Голодные грезы были цветисты и соблазнительны.

Во-первых, конечно, стол уже накрыт.

Ну да, мы бы пришли, а стол накрыт. Потому что мама сначала все сделала, а потом уж они собрались в аэропорт.

Как накрыт? Ну как. Обыкновенно. Как мама накрывает стол.

Мама владеет двумя сервизами. Оба на двенадцать персон, оба немецкие. Один белого саксонского фарфора, он раньше у нее появился, другой, что позже, тюрингского.

Я больше люблю саксонский. У него клеймо в виде двух мечей. Только это не синие мечи, не знаменитая марка. На нашем мечи такие же по размеру и форме, да вот только не ярко-синие, а темно-зеленые. Наверняка чтобы сбивать с толку тех, кто не особо разбирается. Видите эти два меча? Как же такого не знать, прямо даже стыдно, мировая марка, фарфор высший класс и всякое такое. Убедились? Два меча есть два меча, чего еще вам.

А что они зеленые, а не синие, так поди еще догадайся, каким им быть на самом деле. Черта с два кто скажет, я и сам знаю только потому, что мама любит посуду, вот

время от времени о ней и заходит разговор: синие мечи, кузнецовский, мейсен, мадонна, совсем уж цветастая ерунда.

Откуда к ней самой это все пришло, только диву даваться. Кругом посмотреть, так все в лучшем случае из дулевского фаянса сербают. Говорит, нахваталась когда-то у ссыльных. Еще девочкой в Кургане. А я уж у нее.

Саксонский пострадал от времени. Если б он для красоты, его бы берегли. Так ведь ничего подобного, мама его в хвост и в гриву, вот с годами он почти наполовину и расквасился.

Но изначально в обоих было все: и молочники, и супницы, и соусники, и по две масленки, и разные тарелки, разумеется, и салатники, и еще много чего. Даже непонятно, как все это могло размещаться в нашей однокомнатной квартире.

Откуда они теперь переехали сюда. Где скамья у хауза...

В общем, стол был бы накрыт, как в ресторане.

Хотя, если честно, в ресторанах так не накрывают — ни такой посудой, ни с таким тщанием и аккуратностью. Ни в одном ресторане не увидишь такой свежей, такой крахмальной скатерти.

Разве что приборы не из трех предметов, как у нас, а из двенадцати, или сколько там у маркизов раскладывают. Но и это как еще посмотреть, вот уж большая радость железом лязгать. Дело все-таки не в количестве предметов. Папа однажды какого-то курда пригласил к себе, а тот нет, говорит, лучше ты ко мне. У вас, говорит, у русских, тарелок наставят, а жрать нечего. А у меня один ляган¹, зато мясо горой, наешься от пуза...

В бликах оконного света над сухим хаузом проплывали блюда с красивой снедью. Мама убеждена, что еда может и должна быть сытной, но главное — чтобы она была красивой.

Что касается сытности, то мы не курды, конечно. Но не знаю, предполагали ли создатели саксонского фарфора, что их блюдам предстоит дымиться пловом, мантами и бараниной с луком.

Я обо всем этом думал и все подробно, в мелких деталях воображал — и баранину, и манты, и плов.

Особенно хорошо удавалась мне мысль о кутеме. Он витал передо мной в форме неотступного образа, навязчивой идеи. Бывает так — привяжется, и хоть что ты потом делай.

Мне представлялось, что на столе стоит блюдо с зеленью. Ее много, большая охапка, прямо целый стожок — чистый, искрящийся капельками воды. И укроп, и кинза, и райхон, и немного петрушки, если совсем юная, а иначе, говорит мама, можно и веник жевать.

И кутем, разумеется. В иных краях называемый кресс-салатом.

Вот я придирчиво выбираю два или три самых красивых листика. Листья похожи на щавель. Но это не щавель, нет, это кутем.

Складываю их вдвое, втрое. Вчетверо. То есть пакую в компактное хранилище будущего удовольствия — хрустящего и острого.

Все готово. Нет, не все. Разве все? Далеко не все готово. Надо наткнуть на вилку ломтик... чего ломтик?.. в общем-то неважно, чего именно — языка, буженины, вареной говядины или курицы. Сначала мазнуть хреном, а потом уж наткнуть на вилку.

Я кладу его в рот, а потом...

¹ Блюдо (узб.).

В общем, все было довольно мучительно.

Некоторым утешением стало то, что когда наконец они в первом часу ночи показались из-за угла, мне хотя бы удалось надеть переполоху: я вывалился из темноты к ним в сияние фонарного света со своим рюкзаком и жалобным возгласом:

— Я тут сижу, сижу!.. нет, ну где же вы ходите?!

Яблочный пирог

Во всяком, кто добрался до тарелки вечернего супа, резкость суждений малопомалу сменяется способностью к здравомыслию. По идее, папа с каждой ложкой тоже должен был приходить во все более благодушное расположение духа.

— Мама говорит, ты был в агентстве?

— Ну да, — осторожно кивнул я, еще не зная, как далеко он продвинулся на этом пути. Скорее всего, мама сказала не столько о факте моего похода — это он и так знал, вчера вечером мы толковали, — сколько о его результатах.

— И? — все-таки настаивал он.

— Мама не говорила, что ли?.. В половине первого электричество вырубил.

— Надо же...

— И они перестали продавать билеты.

Папа покивал.

— Перестали, значит, — сказал он. — Ну что же. Объяснение вполне разумное.

Он добрал остатки, отодвинул пустую тарелку и кинул на стол ищущий взгляд, дожевывая.

— Разумное объяснение? — удивился я. — Ничего себе объяснение. Торчишь три часа, потом — бац! Все на улицу! Что разумного?

Папа пожал плечами.

— То разумного, что, если нет электричества, продавать авиабилеты нельзя.

— Почему?

— Почему — не знаю. В каждом деле свои секреты. Когда орудуют профессионалы, непосвященные благоговейно молчат.

— Ага!..

— Ну да. Главное, чтобы объяснение было разумным. В этом все дело. Вот, например, почему, покупая билет в Москве сюда, ты не взял сразу и обратный?

— Почему!.. Потому что не продают!

— Вот видишь. Это нехорошо. Но если спросить, почему именно не продают, наверняка получишь разумное объяснение.

Я не мог понять, всерьез он говорит или шутит.

— Ну и почему же?

— Откуда мне знать? Могу только предположить. Ну, например, трудно передавать данные.

— Какие данные?

— Здрате. Нужно же сюда передать, что там купили такой-то билет. Чтобы здесь знали и не вздумали продать такой же по второму разу. Так вот, передавать данные трудно. Легче не передавать. Вот тебе и объяснение.

— Ага...

— И наверняка оно основано на опыте. Например. Начали передавать, несмотря на трудности, дабы избавить трудящихся от лишнего стояния в очередях. Но возникла

путаница. Путаница же всегда возникает. В результате «Аэрофлот» понес убытки. А трудящиеся — множество неудобств и новые очереди. После чего трудящиеся обратились к руководству с требованием немедленно прекратить продажу обратных билетов. Каковое решение было встречено ими радостным одобрением.

— Кем «ими»? — зачем-то спросил я.

— Трудящимися, — пояснил папа. — Кем еще.

— Ага, каковое, — проворчал я. — Каковое-таковое. А почему тогда на поезд продают?

— Не знаю, почему. Но объяснение хорошее?

— Замечательное...

Папа довольно хмыкнул и начертал обушком вилки на скатерти сложный вензель. Мама чем-то громыкнула на кухне.

— Придвинь подставку, — сказал он. — Сейчас понадобится.

— Очередь там жуткая, — сказал я, придвигая. — Даже не очередь, а просто давка.

— Знаю, — сказал папа. — Дикая люди. Дети гор.

Вообще-то я преувеличивал, конечно. Но ненамного. Более качественно, чем количественно. На самом деле никакая не давка, нормальная очередь. Люди как люди. И молодые, и не очень, и пожилые, и старики. И в чапанах с поясными платками, и в тюбетейках, а кое-кто и в чалме. И в пиджачках, и в тертых костюмчиках, и в сапогах с калошами, и в остроносых желтых ботинках. Женщины, как обычно, в сторонке или вообще снаружи с детьми.

Проблема была в общем-то не в очереди. А в том, что, если что-нибудь случалось, всех выгоняли на улицу. А когда запускали снова, дело обретения билетов начиналось с чистого листа, по типу реинкарнации. Счастливчиком ты был в прежнем существовании или неудачником, грелся в лучах солнца или клечетел на темной стороне беспроектной жизни, почти добрался до вождельного окошка или потел в самом хвосте, ничто из этого теперь не имело значения: прежние фантики сгорали, очередь возникала заново, возрождалась подобно дракону, срастающемуся в случайном порядке из неряшливо разбросанных в чистом поле обрубков.

Вот и сегодня так было. Я уже прикидывал, когда окажусь у окошка. Это минут пять... ну ладно, семь. Потом лысый. Потом усатый в пропотелой шляпе. Потом еще двое. А потом уже и я.

И вдруг разом погасли потолочные лампы.

На толпу пали голубые сумерки.

Какой-то движок, все это время, оказывается, исправно гудевший в недрах агентства, тоже смолкал, по инерции докручиваясь: бж-ж-ж-ж-ж-ж-ж...

Повисла оторопелая тишина.

А через мгновение ее разорвал дикий вопль из кассового отделения:

— Свет *тамом шуд*¹!

Началось невообразимое.

Все кричали, кто-то без стеснения бранился, испуганно заплакал ребенок. Я ни черта не понимал, да и понимать тут было нечего: агентство закрывалось по технической причине. Если бы кто-нибудь заявил, что не видит разумного объяснения, его бы тут же уличили в слепоте. А потом и во лжи и безответственности.

С тыла нас понукали визгливые крики кассирш, впереди теснились, с кряхтением стискиваясь в узком дверном проходе. Не пришло и минуты, как все мы — и кто в

¹ Кончился (*тадж.*).

чапанах с руймолами, и кто в пиджаках и желтых ботинках, и кто в тюбетейках, и даже три старика в чалмах на бритых головах, и те, которые в шляпах, и самые передовые и умные в джинсах, — все мы, в тесноте по-бараньи спотыкаясь, вытолкали на улицу...

— Плохо, что очередь нужно снова занимать, — вздохнул я. — И после обеденного перерыва тоже.

— После обеда все равно никогда никаких билетов нет, — сказал папа.

— Серьезно?

— Ну да.

— Глупость какая-то.

Папа покивал.

— В войну тетя Валя в Саратове брала меня маленького за карточками стоять... — Он помедлил, словно что-то припоминая, и качнул головой. — Мы писали номера на ладошках. Но этот добрый обычай еще не привился повсеместно.

Я рассмеялся.

— И потом, — сказал он. — Ведь в таджикском языке вообще нет слова «очередь».

— Да ладно, — не поверил я. — Прямо уж и нету.

— Честно.

— Не может такого быть.

— Чего не может?

— Не может быть такого языка.

— Какого?

— Чтобы в нем не было слова «очередь»!

Папа пожал плечами.

— Значит, может.

— Ты ведь таджикского не знаешь!

— В целом не знаю, — согласился он. — Но кое-чему нахватался. *Чой мехури??*

— *Намехурам.*

— Вот видишь. Ты тоже отчасти владеешь.

Мама вошла с парящим блюдом в руках.

— Вета, скажи, в таджикском языке ведь нет слова «очередь»?

— Уберите кто-нибудь подставку!

Я убрал.

— Я думал, ты сковороду принесешь, — сказал папа.

— Ну конечно. Когда это я сковороду на стол ставила? Берите, пока не остыло.

— Мама, — сказал я. — В таджикском языке есть слово «очередь»?

— Не знаю.

— Не знаешь?

— Не знаю. Нужно же знать, прежде чем говорить. Я не знаю таджикского.

— Не нужно знать таджикский, чтобы понимать эту простую вещь, — возразил папа. — У тебя столько случаев было убедиться.

Некоторое время мы жевали молча. Я потянулся к зелени и взял пару листиков кутема.

— В эскимосском языке девяносто девять слов для обозначения снега, — сказал папа, энергично жуя. — Знаешь почему?

— Нужно им, наверное. Они же в снегу живут.

— Вот именно. А у таджиков для очереди — ни одного. Знаешь почему?

— Ну почему? — спросил я.

— Потому что очередь для таджиков — это совсем не как снег для эскимосов. Очередь — это последнее, о чем они думают. Потому и слова нет.

— Ага.

— У них и понятия такого никогда не было, — сказал папа. — Чай пить — это они понимают. А в очереди стоять — ни в коем разе.

— В Курган-Тюбе, когда бабаи за мануфактурой стояли, они друг друга вот так обхватывали, — сказала мама. Она вытерла пальцы салфеткой, а потом сделала что-то вроде намека на гребок брассом. — Как теперь летку-енку танцуют. Схватятся — и стоят. Чтобы лишний не пролез.

— Уже не танцуют, — сказал папа.

— Не цепляйся, — сказала мама. — Раньше танцевали. Помнишь, когда мы в Ригу ездили? Только ее и слышно было.

— Ну, в ту-то пору самый разгар. Летка-енка ведь эстонская.

— Вообще-то финская, а не эстонская, — возразила мама. — И танцующие руки кладут на плечи переднего. А бабаи за бока держались.

— Вот я же и говорю, — сказал папа. — Нет у них понятия очереди. Все, Ветуся. Спасибо.

— Наелся?

— Еще как. Спасибо... Ты на седьмое хочешь брать?

— Самое позднее, — кивнул я. — Восьмого четыре часа лабораторных по петрофизике. Я их потом в жизни не сдам, если пропущу.

— Тогда бери на шестое. Вместе полетим. Мне нужно на балансовую комиссию. Прибудешь на день раньше. Даже хорошо. С мыслями соберешься...

Мама посмотрела на папу.

— Ты будешь бронь просить?

— Я уже позвонил.

Мама задумчиво покачала головой.

— А второй там никак нельзя?

— Ветуся, — сказал папа. — Это горкомовская бронь. Понимаешь?

— Понимаю. Мама сколько лет в горкоме работала...

— Вот-вот. Поэтому ты понимаешь. Там же только заикнись о чем-нибудь таком.

Им все равно — сын, дочь. Брат, сват.

— Но ведь и правда сын!

— Вот и я о том, — кивнул папа. — Сын? Сын. Родной человек? Родной. Ты ему радел? Радел. Ага, то есть пользовался положением в личных целях. А давай-ка теперь на комиссию. И давай-ка мы тебя к позорному столбу. И выговор. Да еще с занесением. Нет уж. Я с этими волками не могу.

— Положением ты пользуешься! — возмутилась мама. — Каким ты пользуешься положением?!

Папа угрюмо зыркнул.

— Нет, ну ничего себе! — сказал я, поскольку только в этот момент ко мне вернулся дар речи. — Ты, значит, шестого полетишь... у тебя бронь! А я, значит, тут!.. в агентстве!

— Тебе же не надо на балансовую комиссию, — урезонивающе сказал папа. — Если бы ты летал не шалберничать на каникулах, а был бы серьезным человеком, тебе бы тоже дали. Если бы еще оставалась.

— Ну, отлично! — сказал я.

Минуту назад меня ничто не смущало и ничто не тревожило. Минуту назад у меня и мысли такой не было. Минуту назад я точно знал, что завтра придется снова идти в агентство. Я сто раз туда ходил за билетом. Правда, сейчас все как-то неудачно складывалось. Завтра была бы уже третья попытка: вчера среди бела дня закрыли на инкассацию, сегодня свет кончился. Но мне ничего не оставалось делать, как биться до победного конца. У меня восьмого лабораторные, мне кровь из носу нужно. Минуту назад я был уверен, что завтра все благополучно завершится.

Однако после того как папа сообщил о своей начальнической брони!..

— Папа! — воскликнул я. — Ну что же такое! Мне опять туда завтра тащиться день убивать?! Господи, ну ты же все-таки начальник! У тебя же есть какие-нибудь связи, чтобы купить мне этот паршивый билет?

Папа взглянул так, будто у нас только что кто-то повесился, а я безрассудно заговорил о веревке.

Мамин взгляд был еще выразительнее.

— Не нужно тебе папиных связей! — сказала она. — Пойдешь завтра в агентство и честно купишь. Всегда покупал — и завтра купишь. И все, и не надо никаких разговоров!

— Ага, честно! Видел я сегодня, как там честно!

— Что видел?

— Что видел! Да вот то и видел!..

А что я видел?

Справа от кассовых окошек была дверь. Время от времени лязгал запор, выходила кассирша, дверь закрывалась, и было слышно, как кто-то изнутри опять запирает. Минут через десять она возвращалась и стучала условным стуком: бам, бам, ба-ба-бам. Лязгала щеколда, а когда кассирша входила, дверь снова намертво захлопывалась.

То есть порядок в этих кассах был — мышь не проскользнет.

Однако время от времени у двери появлялся кто-нибудь посторонний, совсем не в аэрофлотовской блузке. И тоже стучал условным стуком. Это не так уж и трудно было, ведь все всегда стучат одинаково: бам, бам, ба-ба-бам. А если он и этого не мог сообразить, то просто барабанил как бог на душу положит.

В любом случае щеколда лязгала, дверь приоткрывалась. Этот тип что-то говорил в щель, что-то передавал и тут же отваливал.

Ничего особо загадочного я в этом не видел. Постучав, эти сомнительные типы наверняка произносят какие-нибудь петушиные слова. «Я от Фарзода Нуриевича». Или что-то в этом роде. А тут этого Фарзода Нуриевича все знают. Хотя не исключено, что никто никакого Фарзода Нуриевича здесь и в глаза не видел. И даже, может быть, вообще никакого Фарзода Нуриевича нет на свете. Потому что дело не в Фарзоде Нуриевиче, а в том, что сомнительный тип сказал петушиное слово. А уж кассирши-то в курсе, что делать, если услышали.

Очень просто. Деньги в паспорт, паспорт в щель: я от Фарзода Нуриевича.

Смущало только, что леваки никогда не подходили забирать готовое. И эта ничтожная деталь не укладывалась в красивую схему.

Если бы покупался билет на автобус, тогда понятно. Сунул деньги, взял бумажку, до свидания. Но для самолета нужен паспорт. И кассирша должна кое-что вписать: дату, номер рейса, место, паспортные данные. На это нужно некоторое время. Не очень много, но уж пять минут точно.

А тут не проходит и пяти секунд: сунули что-то — и в сторону. А второй раз, сколько я ни следил, никто из них не появлялся.

И только когда погас свет и все мы оказались на улице, я со злобой и отчаянием сообразил наконец, как все было устроено: кассирши сами потом выходили, чтобы без лишнего шума отдать клиенту билет и паспорт где-нибудь в закутке возле туалета.

— Честно! — возмущенно повторил я. — Конечно, честно! Как же! Просто нужно знать, что сказать, чтобы тебя без очереди!

* * *

Выйдя из подъезда, я повернул на улицу и минут через пять оказался на Айни. Метров пятьсот я шагал по сухому тротуару, испытывая бессознательное удовольствие от того, что ноги не разъезжаются на московской слякоти.

Возле музыкальной школы я взял налево, а на перекрестке с переулком свернул направо. На следующем снова налево, а потом опять направо.

Так, двигаясь примерно тем зигзагом, каким крейсера уходят от подводных лодок, через пятнадцать минут я оказался у базара. Явно разочаровав торговцев своей сосредоточенностью, я обзавелся тремя кило розовой гармской картошки и парой килограммов крупного сухого лука.

Затем я вышел через большие ворота на Лахути и миновал пирожковую. Из пирожковой исходил невыносимо приятный запах шкворчащего в масле теста, зыбкими наплывами сладостной вони дурманивший все вокруг до самой Нагорной. Пройдя мимо сапожного киоска, я перебежал улицу и оказался как раз напротив агентства «Аэрофлот».

Какое счастье, что теперь я был избавлен от необходимости посещения этого стяжения желаний и страстей, этого мучительного желвака мук и разочарований!

Я вышел к нему просто в силу его географического расположения, иначе пришлось бы давать немотивированного крюка, да еще с овощами.

И все же я косился в его сторону с отвращением и опаской.

Разглядеть что-нибудь толком было невозможно, однако отчетливо представлялось, что за мутными, а поверху еще и запотелыми стеклами окон происходит какое-то медленное действие, страшное именно своей неопределенностью. Огромная мешалка с натугой проворачивает неподатливое месиво. Неразличимая в деталях, но явно пышущая жаром лава медленно доходит до краев горнила.

Был одиннадцатый час утра: самый разгар, самое клокотание.

Господи, как хорошо, что папа согласился воспользоваться своими связями!

Если бы меня не кособочила авоська с луком и картошкой, я и вовсе производил бы впечатление совершенной беззаботности.

За сквером я взял правее, скоро нырнул в арку и вошел во двор.

* * *

Что с капустой, что с мясом пирожки у бабушки получались плоские. Мама даже удивлялась: почему они у тебя не поднимаются? Бабушка немо прижимала руки к груди и слабо восклицала.

При этом капуста в целом имела совершенно столовский вкус, хотя в ней и проглядывала приятная остринка, какой не бывает, если не потушить на хлопковом масле с лаврушкой. Начинка же из вареного мяса с жареным луком была наоборот пресновата. Да и вообще я привык к маминым, которые из сырого, — от тех вообще ни оторваться, ни даже вообразить, что такие пироги существуют на белом свете, было нельзя.

Зато бабушке необыкновенно удавалось сладкое печево с пареными яблоками. Особенно пирожки, точнее, расстегаи: разлапистые, они воздушно обнимали золочеными румяно-коричневыми боками затвердевшее до мармеладной корки яблочное вариво.

Сама бабушка из экономии времени и сил предпочитала большие пироги: сляпал один на целый противень и дело в шляпе. Сверху она, как и положено, переплетала полоски теста, концы которых прищипывала к бортам, и румяная решетка празднично армировала пышное сооружение.

Вкусом и эти большие решетчатые, и малые, расстегаями, друг другу не уступали. Но если говорить об удобстве потребления, то лично мне расстегаи нравились больше. Расстегайчик весь на глазу, весь под надзором; он и хотел бы сбезобразничать, да руки коротки. А ломоть пирога всегда способен на всякого рода каверзы. С ним уж как ухо ни востри, как язык ни плющ и ни криви, как ни тарашь глаза и ни разевай рот в надежде предотвратить неряшество и утрату, а из него, подлеца, все же норовит выползти и шлепнуться в самое неподходящее место темно-янтарная блямба яблочной начинки.

К моему приезду бабушка всегда пекла именно пирожки.

Когда я дожевывал первый, она невзначай констатировала:

— Не пошел в агентство.

— Не пошел, — согласился я.

— Ну, так или иначе... — с сомнением сказала бабушка. — Ты громче говори.

Ты же знаешь, я глуховата.

Я молча покивал. Говорить мне было не о чем. Да и нечем.

Она посмотрела в окно и беспокойно подвигала пальцами, мурлыкнув при этом фальшивый обрывок какой-то мелодии.

Но выдержки ей хватило ненадолго.

Она присунулась к столу, стянув сжатыми пальцами ворот кофты, и взволнованно спросила:

— А билет?

— Гу-гу-гу, — успокоительно прошамкал я.

— Что?

— Гу-гу-гу-гу.

— Кто?

— Гу-гу-гу-гу.

— Папа? Громче говори. Что, ты говоришь, обещал?

— Связями воспользоваться, — удалось мне наконец выговорить, проронив на скатерть мимо подставленной ладони лишь несколько крошек.

Бабушка удивленно пожала худыми плечами, снова бросила тревожный взгляд в окно и, поджав губы, мельком взглянула на меня.

— Связями? — повторила она. — Ах, связями... Ну, так или иначе...

Она посмотрела в сторону, и по ее морщинистому лицу скользнуло выражение сосредоточенности, словно несколько мгновений было потрачено, чтобы свести воедино обрывки разнородных сведений из не касавшихся друг друга областей жизни.

Однако, похоже, ей так и не удалось найти разрешения своему недоумению, потому что она снова ёрзнула, поворачиваясь, и остро спросила:

— А какие у него связи?

— Связи? Ну, какие связи. Не знаю. Папа же начальник.

— Начальник?

Бабушка рывком отстранилась от столешницы, посмотрев на меня с таким изумлением, словно она либо вообще не знала этого слова, либо оно было категорически неприменимо к папе. Примерно как если бы я назвал карася птицей. Или крысу насекомым.

— Ну а что? — я недоуменно пожал плечами. — Ну да. А что такого?

— Ничего.

Она заломила руки, прижав ладони к груди и потерянно глядя в сторону.

Мне было очень даже знакомо это ее испуганно-растерянное выражение. Как будто она вдруг очутилась в лесу одна. Или что-то в этом роде. Я не воспринимал его слишком всерьез.

Мы никогда насчет этого не заговаривали, да и как бы заговорили, у меня бы язык не повернулся даже в шутку. А если бы эта тема каким-то образом все-таки всплыла, она бы, разумеется, никогда в жизни не призналась.

Но про себя мне казалось — или даже я был уверен, — что когда бабушке приходит на ум что-нибудь сказать, она не выпаливает идею тут же, как сделал бы простачок вроде меня. Нет, она прибегает к временной маскировке: напускает на себя эту потерянность, невнятно жестикулирует, произносит несколько фраз, которые сами по себе ничего не значат, но дают ей время поразмыслить, стоит сейчас произносить, что стукнуло в голову, или лучше пока воздержаться.

Обычно она именно так заламывала руки, что само по себе отвлекало собеседника, и в горестно-жалостной интонации признавалась, что давно уже не смеет слова сказать, потому что, с тех пор как умер папа (она имела в виду дедушку), никто не хочет ее слушать, никому она не интересна, так что ей лучше молчком и в одиночку. А если вдруг она, не приведи господи, осмелится раскрыть рот, так тут же все вокруг возмутятся и закричат, что вот опять старая бабка лезет не в свое дело. Особенно отец (она имела в виду папу), человек вспылчивый и невыносимый, он ее совсем уж и за человека не считает, только она просит этих слов ему ни в коем случае не передавать, а то он ее и вовсе со свету сживет.

Проговорив все это, затем она могла взять нормальный тон и высказаться по делу, но могла и промолчать, если за время маскировочной тирады успевала прийти к выводу, что и впрямь еще не время для алармистских замечаний и катастрофических прогнозов.

Папа говорил, что мать (он имел в виду бабушку) вечно сиротствует, а также что ее несомненные таланты молниеносной мимикрии обеспечили бы ей блестящую карьеру в каком-нибудь шпионском ведомстве.

Но сейчас, уже начально заломив руки, бабушка затем вместо ожидаемого мной продолжения жестко сцепила ладони на столе и сказала, немного откинув голову, с выражением той полупрезрительной снисходительности, какая бывает, когда приходится говорить обо всем известных вещах:

— Какие у него связи? Билет — это ведь если только бронь.

— Ну вот, — кивнул я. — Видишь, бронь. Можно же.

Она строго покачала головой.

— Откуда у него бронь?

— Не знаю.

— На самолет?

— Ну да.

— Ну вот. На самолет — это только если горкомовская.

— Ну и что, — с легкой досадой сказал я. — Горкомовская так горкомовская. Да, верно, он говорил. Он себе взял на шестое и мне возьмет. Мне все равно, какая, лишь бы билет без очереди.

— Да откуда у него для тебя горкомовская бронь! — возмутилась бабушка. Она снова присунулась к столу и постучала костяшками пальцев по клеенке. — Спасибо что самому-то дают. Я сколько лет в горкоме работала.

— Да знаю я, — кивнул я, рассчитывая увильнуть от повторения пройденного.

— И на пенсию оттуда ушла! — непреклонно сказала она. — Почему у меня пенсия персональная? Потому что я с партийной работы. А дедушка...

В глазах у нее мелькнуло знакомое выражение. Кажется, она хотела снова сообщить мне, что ее Ваня всю жизнь хлопком занимался, всю жизнь на жарнице по хлопковым полям, в Кургане у него была кобыла Карлица, мелкая такая кобылка, он ноги свесит, и вот они трюх-трюх куда-то. А жара! А басмачи! А комарья к вечеру! А малярия!..

Все это я не раз слышал.

Но она только покивала, сказав:

— Ну и вот. А персональную все-таки мне дали, а не Ване... Правда, деньгами-то его все равно была больше.

В ее глазах взблеснули две печали.

Меньшая насчет того, что ее пенсия хоть и персональная, а все равно оказалась дешевле дедушкиной.

Вторая, куда большая, была о самом дедушке. Что он больше не живет с нами, не ходит, не упорядочивает жизнь, не ездит в сад, не копает, все только «не» да «не», а из «да» только лежит на холме за Нагорной. Лежит в той самой земле, которую всю жизнь рыхлил и поливал, и сыпал в нее семена, и сажал ростки, а теперь его самого в нее положили, словно яблоневое семечко или персиковую косточку, да только не выросло там ни чудного персика, ни бокастого яблока, ни даже презираемого им синенького, а только неказистый камень. И что она не будет больше готовить ему судака по-польски. В сущности, это не так уж сложно, рецепт из простых: кусок отварной рыбы под масляно-яичным соусом. Проще говоря, рубленое яйцо кладется в растопленное в кастрюльке сливочное масло — и потом сверху. Пальчики оближешь. Почему-то именно добирая с тарелки корочкой остатки этого вкусного соуса, дедушка однажды сказал со вздохом: «Ты, Таня, и правда, корми меня теперь получше, что уж... Всю жизнь недоедали».

— Понимаешь? — сказала она, смахнув слезу и отгоняя темное облачко. — Ведь я-то знаю. Мне самой всегда звонили. Таня, достань билет. Боже мой, как же я достану? Да как, кому же еще, ты же в горкоме работаешь. Ну да, работаю, ну и что. Когда сама в отпуск, так мне положено, и с мужем могу, и на одного ребенка билет полагается, а так-то как? В орготделе просить? Девочки, дорогие, очень надо, вы уж сделайте, а уж я потом!.. — Последней фразой она кого-то противно передразнила и потом заключила, возвращаясь к нормальному голосу: — Просто так никто ничего не делает.

— Да не знаю я! — сказал я. — Он не говорил, бронь там или не бронь. Просто так или не просто так. Сказал, что вечером к летчикам поедем.

— К летчикам! — ахнула бабушка.

Снова заломила руки и стала говорить, глядя в окно:

— Что же тут скажешь, так или иначе... Как дедушку похоронили, я и слово сказать боюсь. Старая бабка, и весь разговор. Вот и не суюсь со своим. Только

попробуй кому что, сразу обругают. Куда лезешь, глупая старуха, без тебя голова кругом. А уж если папа твой услышит...

Не договорив, она повернулась ко мне и резко потребовала в интонации допроса:

— А зачем тебе?

— Что зачем?

— Папины связи зачем? Ты что, маленький?! Сам не можешь билет купить? Если что в жизни сложнее картошки с луком, так сразу к папе?

— Бабушка! — воскликнул я. — Да причем тут картошка с луком! Ты бы посмотрела, какая там очередь!

— Ну и что?

— Да еще жулики!

— Жулики?

— Жулики!

— Какие жулики?

— Обыкновенные! Если знаешь, что к чему, тогда можно и без очереди!

— По благу?

— Да по какому благу?! Просто стучат сбоку, говорят что-то, и все. Им кассирши без очереди дают.

Бабушка поджала губы.

— Воруют, значит, — скорбно сказала она. — Нет у них совести.

Я пожал плечами.

— Сама говоришь, просто так никто ничего не делает.

— Нет, — решительно не согласилась она. — Одно дело шоколадку принести. А другое — лишние деньги кассирше сунуть.

— Она потом на эти деньги шоколадку себе купит какую захочет, вот и вся разница.

Бабушка посмотрела на меня с осуждением во взгляде.

— Так или иначе! — сурово сказала она. — Ты же не должен никому лишние деньги совать, правильно? Как будто без этого нельзя. Ну, очередь, ну и что. Другие стоят, и ты не преломишься. И купил бы нормально, чем отцу к Алевтине ехать.

— К какой еще Алевтине?

Бабушка испуганно осеклась, вскинула смятенный взгляд и уже начала было заламывать руки, но затем — возможно потому, что это был бы уже третий раз, хотя один из предыдущих обошелся и без сиротского монолога, — заговорила быстро и ласково:

— Вкусные пирожки? Ну, так или иначе... Я старалась, что ж. У меня вот с капустой не очень получаются. Вкусные, но не пышные. Просто умом разошлась, что такое. А эти ничего, да?

— Да, да, — нетерпеливо сказал я. — Очень вкусные. А ты...

— Съешь еще. Съешь. Вкусные же?

— Еще?.. Да я уже вообще-то... Хорошо, но...

— И ведь тесто совсем одинаковое! — честно сказала она, глядя на меня с той доверительностью во взгляде, какая сопутствует раскрытию самых строгих секретов. — Ну совсем одно и то же. Просто чудеса в решете. Даже бывает, я часть таких слеплю, а часть таких. Ведь должны одинаковые получаться, верно? Нет, разные. Что ты будешь делать!..

— Я не понял, ты про какую Алевтину? — перебил я.

— Раньше я и с капустой напеку, и с яблоками, и еще с чем-нибудь, что под руку попадется. Бабушка Поля с кашей пекла очень вкусные, прямо и не подумаешь, что с кашей. Луку нажарит, объединение. А теперь тяжело с двумя начинками, я уж по очереди. Сегодня, скажем, с капустой, а через неделю, допустим, с яблоками. Но тесто то же самое. Совсем такое же. И муки столько, и яиц, и сахара по чуть-чуть, и дрожжей.

— Ты меня слышишь, нет?

— Съешь, съешь. В Москве-то не будет. Но с капустой не поднимается, прямо я умом разошлась.

— Да погоди же! Что за Алевтина?

— К отъезду еще напеку, с собой возьмешь. Спасибо, что картошки принес. Я совсем теперь неходячая. Ноги мои, ноги. Если печь, тогда и муки надо. Мука тоже тяжелая. А без муки-то печь же как?.. И ты громче, громче говори, а то я совсем уж плохо слышу.

* * *

Столь упорно увиливая, бабушка проявила как раз те свойства, которые папа имел в виду, когда говорил, что она мастер темнить и тихушничать. Все это было чрезвычайно подозрительно, и потому на обратном пути я взялся заново перебирать в памяти детали вчерашнего разговора.

Когда папа сообщил, что ему по брони возьмут билет на шестое, я сказал, что могу его только поздравить. И отлично, сказал я, все у тебя тогда в порядке. Что же касается меня самого, то мне в самом скором времени придется, скорее всего, вернуться на жительство в Душанбе. Потому что я пропущу лабораторные по петрофизике, а отработать их нельзя ни за какие коврижки. И в конце семестра меня выгонят, у нас с этим просто, не я первый, не я последний. Но пусть они не волнуются, сказал я, ничего страшного. Не так уж и долго придется мне обременять их, ибо в ближайшем будущем меня заберут в армию, и они гарантированно будут избавлены от моего присутствия минимум на два года. На чей-нибудь слух все это может звучать фантастично, но в действительности очень и очень вероятно, сказал я. Сегодня при моем приближении к кассовому окошку выключился свет. Так что нельзя исключить, что завтра случится прорыв канализации или пожар. А послезавтра, возможно, объявят чумной карантин. Так что даже в самых смелых мечтаниях нельзя вообразить, сказал я, что мне удастся разжиться билетом на шестое или седьмое, чтобы оказаться в Москве самое позднее восьмого. И что поскольку у меня нет больше сил убиваться в этом проклятом агентстве, где я уже потратил два дня, вместо того чтобы наслаждаться каникулами или, на худой конец, заняться литературными делами, не мог бы папа воспользоваться своими связями и достать уже мне этот несчастный билет!

Беспорядочно вывалив все это, я замолчал.

Хорошо, что папа уже съел не только суп, но и жаркое. Если бы я обождал до чая, он бы ответил еще более добродушно. Но он и без того оказался на удивление сдержан.

Добирая кусочком хлеба капли соуса с тарелки, папа сказал, что все это, с одной стороны, его совсем не удивляет. Но с другой, все эти годы меня кормя, поя и давая образование, он не рассчитывал, что его доживший до бороды отпрыск окажется не способен даже на такое плевое дело, как приобретение авиабилета. Однако если там ни света, ни воды, ни, главное, перспектив, то, конечно, дело швах, сказал он. А раз так, то, поскольку иных занятий у него нет и весь он от безделья уже прямо облезает, ему и впрямь придется брать ноги в руки и ехать к летчикам.

— Вот! — радостно сказал я. — Ну а я что говорю!

— К каким еще летчикам? — резко бросила мама. — Нечего тебе там делать! Поидет завтра в агентство и отлично возьмет! Всегда так было и теперь будет!

— Ты же видишь, он недееспособен, — сказал папа не сердитым и не гневным, а каким-то жестяным голосом. — Кто виноват?

— Мама! — воскликнул я. — Ну почему ты не хочешь, чтобы папа воспользовался своими связями! Он же все-таки начальник!

— Да какими связями! Какой начальник! — ответила она, всплескивая руками.

Мама наморщила лоб, словно чего-то не понимая, и одновременно прикусила уголок губы, а когда она так делала, ее лицо принимало чужое, настороженное, а может быть, и несчастное выражение, какое я вообще видел считанные разы в жизни и уж совсем не ожидал увидеть сейчас, и потому заговорил в испуге:

— Ой, не надо, не надо ничего!.. я завтра сам пойду и все отлично... только не!..

Но она бросила салфетку и сказала с горечью:

— Да делайте что хотите!

И ушла на кухню.

Папа молчал.

Я сказал растерянно:

— Я не понял... ну а что такого?

— Ты поел? — хмуро спросил он.

— Поел...

— Ты ехать куда-то собирался?

— Ну да, мы с Лукичом хотели...

— Вот и езжай с глаз долой, — с досадой сказал папа.

Мы с Лукичом на самом деле договорились вечером встретиться, я уехал, а когда довольно поздно вернулся, все вроде бы стояло на своих местах, и папа лишь велел завтра часам к пяти прийти к нему.

* * *

Вряд ли стоит вдаваться в подробности нашей поездки к летчикам. Ничего особенного не было, я и летчиков никаких не видел, во всяком случае, чтобы в форме. Мужа Алевтины звали Сергеем, он и в самом деле когда-то летал, но уже много лет как ушел в наземную службу.

Сначала мы сидели вчетвером, позже заглянули их друзья Михаил и Клара.

Михаил вовсе не имел никакого отношения к самолетам, он был врачом. Поднимая очередную рюмку, он всякий раз вздыхал, что все толкуют насчет печени, а вот если бы знали, как алкоголь действует на почки, в жизни бы к этой гадости не подошли и на километр.

Клара мелко смеялась и мило шурилась. По сравнению с Алевтиной она была очень маленькой.

Алевтина же время от времени ахала, прижимая ладонь к накрашенным губам, встряхивая белокурой завитой прической и опять, округляя глаза, говорила что-нибудь вроде: ну, Герман, какого ты себе парня вырастил, прямо завидно. Все подхватывали, недолго гомонили, затем отвлекались и продолжали нормальное застолье, то есть трепались ни о чем, шутили и смеялись.

Я украдкой на нее посматривал, ловил переменчивое выражение ее яркого лица, стараясь, чтобы она не заметила моего внимания.

Из необязательной застольной болтовни и довольно замысловатых тостов, на которые врач Михаил оказался просто мастак, я между делом уяснил, что у Алевтины

и Сергея тоже был сын, но в десять лет он умер от саркомы голени. Еще Алевтина в какой-то момент воскликнула: «Нет, ну нашли молодых! Какие же мы молодые, у нас скоро оловянная свадьба!» — и, смеясь, прижалась к мужу, наклонив голову к его плечу. Ну и еще, если свести воедино несколько в разное время упомянутых обстоятельств, становилось понятно, что когда-то Алевтина работала в папиной партии — давно, еще когда он был в Памирской. Потом она уволилась, а через несколько лет вообще бросила геологию. Сделать это ей было не трудно, поскольку она подвизалась на не требующих особого образования должностях вроде коллектора. И устроилась в аэропорт, сменив, фигурально выражаясь, увитые лаврами геологические молотки на увитые лаврами же пропеллеры или какая там эмблематика в системе Гражданской авиации. Она сама говорила, что если бы осталась, поступила бы на геофак, а потом и вообще, глядишь, сделала бы карьеру.

Вот и все, собственно. В качестве горячего нас накормили пельменями. Потом Алевтина куда-то позвонила, все выяснила и растолковала, что нужно сделать. Мы долго прощались и в конце концов уехали.

* * *

Утром я снова отправился в агентство.

Теперь не требовалось стоять в очереди, подвергаясь сбоям в работе и прочим превратностям судьбы. Нужно было всего лишь постучать в дверь справа от кассовых окошек, сказать, что я от Анвара Тавобовича, и сунуть паспорт с вложенными в него купюрами. А потом ждать в сторонке. Через несколько минут кассирша выйдет, чтобы отдать что положено.

Денег в паспорт следовало положить на пять рублей больше стоимости билета. И одними бумажками.

Я вошел в густо забитое помещение кассового зала и вдруг понял, что мне неловко на глазах у тех, с кем давился в одной очереди, идти к боковой двери.

Решив потянуть время и собраться с духом, я, чтобы не привлекать внимания бессмысленным блужданием, направился к табло и перечитал давным-давно затверженные названия аэропортов местных линий.

Ленинабад, Хорог... Куляб, Исфара... Лет пять назад мама летала в Исфару. В институте был международный симпозиум по ацетилену, иностранцев возили на экскурсию. Собирались утром туда, вечером обратно. Утром при посадке то ли летчик не рассчитал, то ли тормоза отказали, самолет выкатился за полосу и остановился далеко в винограднике, чудом не погубив тракториста. Вечером мама возвращалась в пустом салоне: независимо от гражданства, все предпочли получасу комфортной воздушной перевозки восемь часов тряского автобуса.

Вот так, думал я, незначай озираясь и выгадывая еще минуту.

Все испугались.

Мне казалось, все следят, когда я и в самом деле двинусь к двери. Чтобы придать лицу незначительное выражение, я старался думать о постороннем.

Испугались, да. Ну и глупо. Если по дороге туда в виноградник, так обратно вообще, что ли, грохнуться? Глупости, так часто не бывает. Мама полетела и правильно сделала. Я бы тоже полетел. И папа бы полетел. Мы-то знаем, что такое судьба. А дед? Не факт. Но может быть. Даже скорее всего. А вот бабушка точно бы не полетела. Какие все-таки люди разные бывают.

Сколько мне здесь топтаться? Пора, пожалуй.

Я заледенел, деревянно пробрался сквозь толчею и, оказавшись у двери, постучал условным стуком: бам-бам, ба-ба-бам.

Щеколда лязгнула, дверь приоткрылась. В щели появился фрагмент смуглого лица с настороженным глазом.

— Москва, шестое, — сдавленно сказал я.

Глаз моргнул, рука выдернула паспорт.

— Жди там, — услышал я.

Лязгнула щеколда.

И тут я сообразил, что не сказал насчет Анвара Тавобовича.

* * *

Все вышло именно так, как бабушка и наказывала: я принес ей два килограмма муки, к отъезду она напекла новых пирожков с яблоками, и накануне нашего с папой отлета я их забрал, чтобы взять с собой в Москву.

А теперь время шло к обеду, и часть я принес обратно, чтобы было с чем пить чай. К счастью, в агентстве нынче дело обошлось малой кровью: и очередь оказалась небольшой, и чумной карантин не объявили, так что я успел задолго до перерыва.

Бабушка все ахала:

— Да как же так! Да как же!

Она прижимала ладошки к худым щекам и прямо-таки вытаращивала на меня глаза.

— А вот так, — несколько раздраженно отвечал я. — Вот так!

— Ну как же, как же! У тебя же билет!

Я откусил половину большого пирожка и попытался проглотить все сразу. Оказалось слишком много, я едва не подавился.

— Билет! — закричал я, кое-как преодолев спазм. — Ну да, билет! Вот такой билет! Бабушка, ну что ты все одно и то же! Как же да как же! Вот так же!

Бабушка придвинула стул к столу и села.

— Ладно, — сказала она совершенно спокойно. — На какое теперь взял?

— На девятое, — буркнул я.

— Ты же говорил, что...

— Говорил, да, — сказал я. — Да ладно. Сдам я эту несчастную петрофизику.

— Не выгонят?

— Не выгонят.

— Ну что ж тогда, так или иначе... — Она сплела костлявые пальцы на скатерти. — Так или иначе.

Я хмуро жевал, время от времени делая глоток чаю.

Как же, как же... Вот так же.

Все это было сегодня утром. Московский рейс улетал в шесть ноль пять, вставать к нему приходилось, выныривая из радужных снов в беспросветно темный пугающий мир. Все успело подернуться такой рябью, словно случилось несколько дней назад.

У стойки регистрации мы стояли рядом, папа пропустил меня первым. На поле тоже вышли бок о бок. Но скоро пришлось разделиться: по горкомовской брони ему достался первый салон, а туда пускали, несмотря на первенство, после демократического второго.

Горстка элитных пассажиров переминалась у трапа к передней двери «Ила», дожидаясь, пока мы, черномясые, взойдем по своему.

Черномысые облепляли подножье, необъяснимо волнуясь и теснясь.

На нижней площадке трапа стояли две стюардессы. Одна смотрела билет, треплющийся на ветру в судорожно сжатых пальцах очередника, и сличала с паспортом, другая кричала что-то в черную мыльницу переговорного устройства и чирикала карандашиком в ведомости. Проверенные и посчитанные спешили по ступеням, чтобы кануть в темноту овальной люковины.

Я не видел причин толкаться у трапа. В билете было указано предназначенное мне место. В авиабилетах всегда указаны места. Вот и в моем ясно читалось — «17Г».

Стоя метрах в трех от стяжения страстей, я посматривал в папину сторону. Он что-то говорил и махал рукой, будто пытаюсь на что-то мне указать. Ветер относил слова, я ничего не разбирал. Да и показывать ему было особо некуда. Куда уж тут показывать, когда стоишь у трапа. Остается только подняться по нему, чтобы занять место в салоне. Очевидно, он махал просто так, приободрить и пообщаться. Я тоже время от времени ответно помахивал — дескать, у меня все отлично, ты сам там, главное, держись.

Когда у нашего трапа осталось всего человек десять второсалонников, стали пускать пассажиров первого.

Папа поднялся по ступеням, уже перед самой дверью еще раз ободряюще помахал — и нырнул в самолет.

А у нас тем временем происходила явная заминка. Вереница прервалась, трап был пуст. Оставшиеся внизу разноголосо кричали и жестикулировали.

Невольно холодея, я притиснулся вплотную и тоже стал тянуть руку с билетом.

— Семнадцать гэ! — закричал я. — Слышите? У меня семнадцать гэ! Пустите! Ну, у меня же билет!..

* * *

— Что ж тогда, так или иначе... — сказала бабушка. — Будет тебе урок. Так-то вот с жуликами вязаться...

Я сунул в рот остаток пирожка. На пальцах осталась пыльца муки и сладкий деготь подгорелой начинки. Я облизал.

Я вдруг понял, что почему-то даже рад, что меня не посадили в самолет. Радость омрачалась лишь легким беспокойством насчет папы, а в беспокойстве был, в свою очередь, легкий оттенок злорадства. Я представлял, как погасло табло, он поднялся из кресла и пошел во второй салон. Он же думал, что я во втором салоне. А меня не оказалось... Надеюсь, он не будет слишком уж волноваться. Ну, не посадили меня в самолет, что делать. Вечером позвонит и все узнает. Вот так. Он-то улетел. Конечно. Что ж, с горкомовской-то бронью. А я пирожки ем. Каждому свое. Ну и ладно. Хоть и жаль, что пропадет моя послезавтрашняя петрофизика.

— Они лишние продают, — сказал я. — Вот почему на посадке все так давятся. Знают, наверное... Если последним останешься, не улетишь. Ну и правда, как лишних сажать? Если всех сажать, самолет не поднимется. А если бы я вперед пролез, отлично бы улетел.

— Ну да, — покивала бабушка. — А кто-нибудь другой бы остался. Вот радость-то... Билет хоть даром поменяли?

— Страховой сбор заново. Тридцать копеек.

— Ну, слава богу, так или иначе, — успокоилась она. — Видишь как. Ворье бессовестное.

— Такая вот Алевтина, — сказал я.

Я отлично понимал, что Алевтина тут совершенно ни при чем. Купленный при посредстве Алевтины билет (а также с помощью неведомого мне Анвара Тавобовича, про которого я в самый ответственный момент забыл) ничем не отличался от прочих. Он отлично бы пошел в дело, если бы ко времени моей посадки в салоне еще оставалось место.

Я упомянул ее имя, надеясь, что бабушка купится на эту нехитрую уловку и заговорит. И расскажет мне историю. Которая, как я чувствовал по совокупности мелких обстоятельств, здесь несомненно просвечивала. И была связана именно с Алевтиной.

Бабушка обожгла меня быстрым взглядом выцветших глаз. Она посмотрела в окно и нерешительно сказала:

— Что ж, так или *иначе*... — И повторила тверже: — Так или *иначе*!

Я понял: она хотела бы рассказать. И она уже представляет, с каким удовольствием расскажет. И какими яркими и значимыми деталями, на которые такая мастерица, украсит свой рассказ!..

Но это было бы лишним. А что бабушка точно умела, так это не говорить лишнего.

— То есть не расскажешь? — повторил я.

— Не знаю я ничего, — сказала она, честно на меня глядя. — Не помню.

Я вздохнул.

— Ну что ж..

— Ну, и слава богу, так или *иначе*, — успокоилась она.

И тоже вздохнула, ласково на меня глядя.

И я видел, что в ее взгляде скользит сожаление.

И ей было жаль, что она не может мне рассказать. Чего именно? — так, кое-чего. Хотела бы — но никак. Было бы лишним. Так что ни за какие коврижки. Хоть бы даже и под пыткой.

— Так или *иначе*, — печально вздохнула она. И повторила: — Что ж теперь... Ладно... Вот я и говорю: так-то с жуликами дело иметь!

И мы рассмеялись.

Лук нарезать тоненько-тоненько

Троллейбус с полпути заворачивал на Ленина, а потом в парк, так что от самого «Детского мира» мне пришлось шлепать по сырым и темным улицам.

Я хотел есть и шагал стремительно, как ходят молодые и голодные, не глядя под ноги, а только по звуку понимая, расплескиваю очередную лужу или иду посуху. А ночной ветер то достигал лица и ладоней влажным касанием мороси, а то веял откуда-то справа, и тогда я обонял парфюмерный призрак ее запаха, задержавшийся на щеках.

Я не думал, что мы так засидимся. Собственно, мы еще за столом говорили почти исключительно об этом: пора мне уже или еще не пора. Ее мама склонялась к тому, что пора, а Лена возражала в том смысле, что можно еще минуточку, и я оставался сидеть, хотя, если быть честным, уже не видел в этом никакого смысла. Чай давно выпили, и после второй заварки тоже, лимонный пирог был достойно распробован, я подробно изложил как взгляды на жизнь, так и планы на будущее. Тут мне скрывать

было совсем нечего: будущее представляло таким туманным и расплывчатым, что говорить я мог все подряд и сколь угодно детально.

Они с мамой жили в пятиэтажном доме с большими лоджиями. И не просто на Втором Советском, а на самом краю Второго Советского, откуда уже рукой подать до Масложира. Лена пошла проводить меня до остановки. Я сказал, что город сильно расстроился, раньше тут были пустыри, а за Масложиром, где хлопковые поля, кишлак и канал, у нас был сад. А теперь сада нет, и дедушки нет, и арычки его наверняка заилились, а то и вся земля перевернулась, и они текут не в ту сторону.

Троллейбус все равно не показывался, и мы побрели дальше.

А может быть, и не так, сказал я, может быть, и теперь кто-то заботится о саде и борется с филлоксерой. Дедушка всегда очень озабоченно говорил о филлоксере, такая, дескать, зараза, дай волю, погубит лозы. Но вот дедушки уже и нет, а виноградник остался, и не исключено, что кто-нибудь рыхлит под ним землю, после полива взявшуюся коркой, а потом собирает сладкие гроздья, а как еще. Ну и с филлоксерой, значит, воюет, а как иначе.

Папа не хотел продавать сад, мол, ничего страшного, что ж делать, придется ему самому всем заниматься. Но у него была работа, он мог лишь в выходные, и то не всякий раз, а до пенсии далеко.

В общем, как только некому стало там насвистывать себе под нос, все пошло прахом, и бабушка настояла, чтобы продали, а то она видеть не может, как глохнет и погибает.

Так что я по сей день не знаю, заключил я, каков этот Масложир на самом деле, и, скорее всего, не узнаю уж никогда.

Про сад Лена слушала внимательно, а когда я заговорил насчет Масложира, интереса не проявила. Я переспросил, она ответила, что вообще-то слышала о Масложире и знает, что это где-то неподалеку, но тоже понятия не имеет, каков он. Вообще, у меня сложилось впечатление, что вопрос Масложира ее не только не занимал, но даже казался странным.

Мы дошли до самой речки. Вода билась на черных камнях и шумела в темноте, ветер невидимо шуршал мертвой травой. Лена зябла, я обнимал ее и целовал, мы повернули обратно, и когда вернулись, троллейбус ушел.

Мы еще немного прошли, время текло, как бы нам, возможно, ни хотелось его приостановить. Ей пора было возвращаться, да она и замерзла, я проводил ее обратно, но немного не доходя до подъезда мы свернули направо на детскую площадку и долго целовались в сумраке за деревянной горкой.

Она щекотала мне ухо, шепча, что на всякую нашу школьную встречу ходила как на сватовство, и вот теперь мы наконец признались друг другу, а ведь прошло три с лишним года, и непонятно, что мешало нам сделать это раньше, могли бы, например, и на выпускном.

А я отвечал, что просто боялся к ней подойти. Она слишком красивая, а иногда еще смотрела немного исподлобья, есть у нее один такой взгляд, опасный, что ли, или, может, не опасный, но особенный.

Она тихо смеялась и говорила, что не знает никакого особенного взгляда, что я все выдумываю, что на самом деле ей было одиноко, и если бы я сказал хоть слово, она бы совсем не стала смотреть на меня исподлобья. Потом спросила вдруг, помню ли я, как в девятом классе мы встретились в Ходжа-Обигарме.

Разумеется, я помнил, как мы встретились в Ходжа-Обигарме.

Никто из наших не ездил в Ходжа-Обигарм, даже из всей школы никто не ездил, только однажды я встретил там одного типа из десятого, давно еще, он потом окончил школу и пропал. Я даже не узнал его фамилии, встретил и встретил, он на меня, скорее всего, вообще не обратил внимания, мало ли кто болтается на склоне, всех не разглядишь, съехал книзу и давай пехом обратно, где полого, там можно в лоб, а в двух местах круто, и большинство валандается лесенкой, а я взбегал елочкой, как дедушкин заводной пингвин, только пар от меня валил, и потом приходилось отдыхаться.

В тот день вообще было непонятно, нужно ли ехать, потому что, когда я проснулся, в темноте ливень барабанил по карнизам и дудел в водосточные трубы. Но все-таки я собрался, вставать приходилось чертовски рано, машина от института уходила в половине восьмого, туда за двадцать минут не управишься, и точно, я промок насквозь, пока добежал.

За городом дождь обернулся мокрым снегом, и ехали мы не час, как обычно, а как бы не два, та еще оказалась езда. Снег валил и валил, и чем дальше мы взбирались по Варзобскому ущелью, тем гуще. Но все-таки доехали до поворота и еще километра четыре по узкой дороге к самим источникам. Шофер сказал, что ждать не будет, сразу двинет обратно на шоссе, потому что, если останется, его в кабине завалит по крышу, и все, сливай воду.

Крутая тропа всегда была скользкой — или обледеневала, или раскисала, а в этот раз ее вообще было не найти: снизу снег, сверху снег, снег в глаза, все в снегу, все глухое и ватное, все бело, ничего не видно, ничто ни от чего не отличимо.

День шел насмарку, катания не выходило, даже к Юриному пластику липло, а уж я лишь тем и занимался, что наяривал свои деревянные парафином, но все равно то и дело приходилось счищать с них пласты снега. Вокруг плескалось сплошное молоко, не понять даже, что выше, что ниже, что укатано, что перепахано, а не дай бог чуть в сторону, так вообще вязнешь по самую развилку.

У меня были бутерброды с колбасой и чай в полиэтиленовой банке из-под NaOH. Снег все валил, с колбасы приходилось сдувать, хлеб подмокал, просто бешеный какой-то был снегопад.

То и дело одергивая капюшон штормовки, чтобы не так несло в физиономию, Юра, задумчиво глядя в непроглядную метель, сказал, что ничего страшного, даже хорошо, пусть навалит метра два, к следующим выходным морозом схватит, подсушит, вот уж тогда разгуляемся.

Я лишь горько улыбнулся: он-то разгуляется, спору нет, у него кант стальной, ему по насту только и гонять, а у моих деревянных боковины давно круглые, как бутылки, я по будущему насту хоть боком, хоть задом наперед.

Скоро мы стали собираться, по такой погоде к четверем должно было капитально стемнеть, и еще неизвестно, сколько проваландаемся на тропе, а потом еще к шоссе и тоже небось по колено.

Спуск в этот раз был диковинный, то и дело кто-нибудь срывался и летел с тропы напрямки, Юра тоже раз улетел, но благополучно, а когда мы уже были на дороге, там, потом говорили, двое поломались, не знаю, как их доставляли, мы уже ушли.

И вот почти у самого шоссе я тогда и встретил Лену Данилову. На работе у ее мамы в кои-то веки организовали отдых выходного дня, они поехали, а тут такое светопреставление. Их автобус тоже не стал ждать, покатило книзу, они потоптались в растерянности, кто-то из их компании полез на плато, а они даже пытаться не стали, они вообще не по этой части. Съели тормозки и побрели за автобусом.

Если бы Лена была там одна, мы бы пошли вместе, я бы взял у нее лыжи, у нее ведь были какие-то лыжи, она несла их неловко, роняла палки, лыжины даже связаны не были, непонятно даже, где ей удалось по такому случаю ими разжиться.

Но она была с мамой, а мама с подругами, целая гурьба теток, так что мы только оторопело покивали друг другу. Я точно оторопел, я на ходу как раз и думал о ней, и тут такая материализация. Но вообще-то и без того всякий удивится, встретив на горной дороге одноклассницу, которой там совсем не место — она ведь играла на пианино, а ничем подобным не увлекалась.

А теперь я быстро шел по тротуару, вспоминал вечер, как мы говорили и что сказали друг другу, то есть не думал ни о чем специально, а обо всякой всячине.

Шел себе и шел, а потом увидел.

Четверо... нет, даже шесть человек их было. Небольшая шобла местных полуночников. От такой не приходится ждать ничего хорошего. Сбившись в плотное сгущение силы и опасности, стая темным пятном теснилась поодаль от фонаря. Ближе к столбу поблескивали на свету неровности мокрого асфальта.

Трудно было рассмотреть их подробно, да и времени на рассмотрение оставалось совсем немного.

Но я воочию видел, как они щерят пасти. Я даже различал клыки: на них поблескивала пузырящаяся слюна.

А они горящими в полумраке глазами следили за моим приближением.

И я все шагал и шагал, шагал деревянно, но твердо, твердо не от уверенности и бесстрашия, а просто потому, что мне совершенно некуда было деваться, единственное, что я мог, это метнуться от Айни влево, в переулок к базару, но он неминуемо вывел бы меня напрямик на Мирзо-Ризо. А вот уж куда я сейчас не хотел, так это на Мирзо-Ризо, потому что все, что я слышал о Мирзо-Ризо, где мы когда-то жили, могло лишь пуще утрашить, и ничто не могло хоть чуточку приободрить, вот и получалось из огня да в полымя.

Эти хищники уже конвульсивно поджимали лапы, то пряча, то снова выпуская желтые когти, готовясь броситься, когда наступит момент, а слуха достигало их низкое и все более угрожающее ворчание.

И все же я шагал и шагал, шагал и шагал прямо на них, и, кажется, дела сегодняшнего вечера придавали мне если не мужества, то отчаяния, — а запнулся метрах в двух, когда услышал мирный голос:

— Братан, извини, спички есть?

— Есть, — сказал я. — Держи.

Они прикурили.

Я забрал спички... еще потряс коробком, словно чтобы убедиться, что они спалили не последнюю, а если бы спалили, я бы им тут всем показал, где раки зимуют.

И пошел дальше, чувствуя и облегчение, и свободу, и еще почему-то неожиданно появившуюся уверенность, что не надо ничего бояться.

* * *

Минут через десять я уже осторожно совал ключ в замочную скважину.

Мои старания быть призраком оказались напрасны: в спальне горел свет.

Я заглянул. Мама лежала в постели, а папа сидел с краю в своей синей кофте, положив руки на колени и сторбившись.

Оба выглядели если не горестно, то, как минимум, печально.

— Что случилось? — сказал я.

- Сынок, ты не брал мои туфли? — спросила мама.
— Туфли, — повторил я. — Какие еще туфли?
— Французские туфли, — пояснила она, надавив на «французские».
— Французские туфли?..
— Помнишь, я позавчера купила французские туфли.
— А, французские туфли, — сказал я, морщась. — Ну да. И что?
— Ты помнишь? — зачем-то настаивала мама.
— Я помню, — сказал я. — Позавчера ты купила французские туфли. Я видел.

Ты их примеряла. Показывала нам. Хорошие туфли.

Я пожал плечами. Время вообще-то позднее. И я хотел есть. Помню ли я французские туфли. Ничего себе.

— Пришла с работы и опять решила померить. Подумала, что они мне, может быть, немного жмут. Думаю, еще раз попробую...

— И что? — нетерпеливо спросил я.

— А их нет, — беспомощно сказала она. — Ты не брал? Я подумала, что... я подумала, ты ехал к Лене... может быть, отвез ей?

Через секунду я тупо спросил:

— Мама, ты с ума сошла?

— Ну! Ну! — папа грозно возвысил голос.

— Что «ну»?! — возмущенно сказал я. — Вы в своем уме, вообще?

Мама вздохнула.

— Не знаю... Еще деньги лежали в шкафу под бельем. Облигации...

— Нету?

— Нету.

— Ага, — сказал я. — Тоже мой грех?

— Да ну тебя, — она отмахнулась.

— А много было? — спросил я.

— Самое время спрашивать, сколько было, — проворчал папа. — Много, немного... теперь уж нет ни черта. Обокрали нас, вот что. Ладно, спать надо. Завтра в милицию пойду.

Пусть считанные разы, но все-таки случилось в жизни, когда будущее открывалось мне именно так — ясно, отчетливо, с непреложностью, не предполагающей сомнений.

— Папа! — в ужасе воскликнул я. — Не надо в милицию! Они скажут, это я украл! И отвез Лене!

* * *

Я и потом не раз замечал: время — единственное, пожалуй, о чем не нужно специально заботиться, оно идет само собой.

Вот оно и прошло, и мы снова сидели за столом.

Мы давно не виделись. Я уехал зимой, успел к началу семестра, отучился, сдал экзамены, а потом четыре месяца провел на практике. Занятия начинались с октября, и все равно я смог приехать домой всего на неделю. Сахалин не отпускал, я выдирался из него, как выкарабкивается муха из розетки с вареньем.

Но все-таки приехал, и теперь всех разговоров у нас было (точнее, у меня, мама с папой просто послушно поддерживали тему) о том, как прошла моя практика, как хорошо на Сахалине, как вот скоро я закончу институт и распределюсь туда работать, и что я уже обо всем договорился. Меня будут ждать: и Юров, начальник партии, и водитель-механик Петрович, и техник-водитель Равиль, так что мне бы только

как-нибудь отучиться, через год защитить диплом, а уж с дальнейшим ясно, жизнь как на ладони и никаких сомнений.

Мне хотелось рассказать все и сразу, но это, к сожалению, было невозможно, приходилось чередовать или, точнее, прыгать с одного на другое. Я толковал и о том, и о сем, и то опять о работе, то начинал рассказывать о Юрове, а то вдруг вспоминал, как встретился с двумя помбурами в гостинице, где пришлось провести первые три дня по приезде.

Они выбрались в Оху с Большой Речки, первый сопровождал второго в больницу, у того ударом бурового ключа было сломано запястье, и они — эти два громадных цветущих мужика, какими, как я скоро узнал, были здесь все без исключения помбуры, вселились в трехместный номер, где я должен был провести последнюю ночь, рассчитывая утром заселиться в общежитие.

Мы провели чудный вечер, у цветущих помбуров была целая авоська водки, они всю ночь по-помбурски буровили, но в конце концов я кое-как уснул под их рокотание и хриплые выкрики.

Утром они бессознательно храпели. Сетка-авоська валялась у холодильника пустым бреднем, из которого выскользнула последняя рыбешка.

Накануне за гутьбой руки до сборов не дошли, а время тикало, и я начал торопливо складывать вещички. Меня приписали к Юровской партии, Юров должен был сегодня выезжать на два заказа и строго наказывал не опаздывать, а ведь предстояло еще закинуть рюкзак на новое место жительства, в общагу, в ХОЗУ вчера так и сказали: ты, мол, главное, койку займи, а там уж разъезжай сколько влезет.

Но собраться мне было только подпоясаться, удивило лишь, что, когда я перед уходом хотел почистить зубы, мой днями начатый тюбик оказался насухо выжат. И некоторое время потом я недоумевал, припоминая и пустую авоську, и сколько в той пасте могло быть дури, и еще то, как последняя соломинка переломила-таки верблюду спину, вот, может, моя паста соломинкой и оказалась, что они до сих пор без сознания.

А недели через три я заболел, и неудачно, в дороге.

Впрочем, трудно было так угадать, чтобы заболеть на месте, потому что жизнь каротажника состоит именно в том, чтобы кочевать по площадям. В тот день выдалась пауза, и с отработанной буровой двинули не на другую, как обычно, а к расположенным примерно между ними целебным источникам. Можно было сидеть в одной из четырех больших ям с парящей водой, рассуждая насчет того, какая разница в этой по сравнению с предыдущей, или вовсе сделать паузу на суше, охлаждаясь дождичком, а если подмерзали, так снова лезли в горячее. Я с утра не пил, я вообще шел за почти непьющего, а вот Юрова маленько развезло, и он в шутку дернул Равиля за причинный конец, да видно не рассчитал, слишком сильно пошутил, тот стал садиться, немо выпучив глаза, и чуть не утонул, мы его едва вытащили, у той ямы как нарочно оказались самые скользкие края.

Потом снова ехали, и если дорога по верхушкам сопок, то хорошо, подъемник тяжелый, так и ухаёт с увала на увал, а вот в низинах сплошное чавканье. В какой-то момент Юров еще добавил и захотел за руль, Равилю деваться некуда, с начальником не поспоришь, он перебрался на пассажирское, ну они и поехали вперед нас, как раз дорога оказалась хорошая, вот и умчались.

А когда мы их неспешно настигли, станция лежала на боку: завалилась в кювет на пихты, они ее придержали, а то бы и вовсе кувыркнулась. Равиль сидел в кабине, как в мышеловке, дверь не мог открыть, а Юров стоял снаружи и курил с таким

значительным видом, будто каротажным станциям на шасси армейского ГАЗ-66 с зеленой кабиной, будка понизу карминовым, поверху через черную полосу желтым, именно так ездить и положено.

В общем, мы проваландались и до буровой добрались ближе к вечеру. Обычно приходилось ждать, пока кроты инструмент поднимут, но в этот раз все было готово и сами буровики злые — вроде как они последние жданки доели и простаивают. Хорошо, Юров давно бурмастера знал, они с ним пошли в балок бумажки писать, на том и кончилось.

Ну а нас-то упрасивать не приходится, разобрались в три секунды, я сам рыбу в лужу кидал. Петрович начал спуск, и все затихло, два двести проехать это минут на сорок тихого ворчания и скрипа.

Я сидел в станции, глядя в оконный лючок на вращение блок-баланса, и мало-помалу на меня стало накатывать. Я отлично знал, что идет спуск, а работаем на подъеме, но зачем-то включил приборы, запустил протяжку и стал тупо недоумевать, почему двоятся линии самописцев. Пришел Юров, и я с тревогой сообщил, что по этой скважине, похоже, весь материал насмарку. Он сначала заорал, что я с ума сошел диаграммную бумагу коту под хвост, потом все вырубил, а потом потрогал меня и сказал, что мной рубашки можно гладить или даже прикуривать.

Из-за этого я пропустил два выезда, у меня оказался отит, и я валялся в общаге. Делать там было совершенно нечего, утром я брел в поликлинику на кварц в кабинете физиотерапии, днем тянул время, писал письма, а вечером приходил со стройки каменщик Никита, и мы варили суп или жарили картошку.

Когда я в последний раз сидел у аппарата, приложив ухо к целительно светящей трубе и думая все об одном и том же: как вот сегодня мне закроют больничный, а завтра к семи я уже буду на базе и, может быть, на мое счастье все тоже там, а не на выезде, и я наконец-то включусь, а если где-то мотаются, то пойду в мастерские тянуть время до их возвращения, — так вот тут меня в открытую дверь увидел какой-то тип и весело полюбопытствовал: «Мозги греешь?»

Раздосадованный его идиотским вопросом, я докварцевался, вышел в коридор — и у кабинета хирурга заметил знакомых помбуров: у одного рука все так же висела на грязной тряпице, другой его все так же сопровождал, только оба теперь были совсем синие и производили довольно нездоровое впечатление...

Но ведь за столом никогда ничего до конца толком не расскажешь, разговор непременно сам собой куда-нибудь увильнет, мама, например, ахнет, это как же, сыночка, тебя угораздило заболеть.

Вот и сносит на другое, ладно, думаешь, потом дорасскажу, не забуду, начинаешь объяснять, что там вообще-то не до болячек, какие болезни, какие простуды, живым бы остаться, каротажная работа продыху болеть не оставляет, выезжаешь на БР-4 сделать стандарт, а там уже радиограмма, что партию Юрова ждут на БР-17, так что пусть не засиживается, хоп так раз так, майна-вира.

И скважина вроде на той же площади, да до нее тридцать километров непролазной таежной колеи. Но доберешься и эту сделаешь — а тебе еще две: вы ведь на этой площади, так и отработайте заодно, вам рукой подать. Колесишь неделю, а то и полторы, и никто уже даже и не думает, что хорошо бы когда-нибудь все же вернуться на денек в Оху поменять портянки.

Однажды мы не спали трое суток: днем работать, и всюду как на зло завершающий комплекс, а это три спуск-подъема, не залежишься, — а как закончили, так надо

мчаться на следующую. Однажды в спешке даже рыбу в луже забыли, так бы и уехали, хорошо, я в последнюю секунду вспомнил.

И это значит, что ехать ночью, ехать, вот и все дела, ехать и ехать. Свет фар медленно ползет по веткам, умом-то понимаешь, что деревья другие, а кажется, что те же самые. Хорошо если вышка выглянет из рассветной мути, вся в огнях, будто новогодняя елка, а то и к обеду к ней, бессонной, выезжаем.

И уже просто глаза на лоб, и ты вроде на пассажирском, можно прикорнуть, да еще как сладко получится — под надрывный вой двигателя, под нескончаемое переваливание подъемника, под чавканье колес в таежных бочажинах, в разжужканных до невозможности озерных колеях, под гудение печки и струю теплого воздуха.

Но ведь Петровичу еще рулить и рулить, а ты тут у него на глазах завалишься. И хоть он сам говорит, мол, чего ты, вздремни, оторви часок, нам еще долго скрестись, но разве это по-товарищески будет, нет, совсем будет не по-товарищески.

А если все же в конце концов плюнуть на все и спать, спать всем — и мне, и Петровичу, и Юрову, и Равилю! — всем уснуть без задних ног и спать, и плевать, что надо ко времени, все равно небось у кротов ни черта не готово, все равно у них инструмент наверняка в скважине, только начали поднимать, а попробуй-ка подними на вышку три километра свечей, черта с два они ко времени управятся, поэтому можно спать, спать, спать! — но это совсем уж беда: кроты, они оборотистые, особенно когда не надо, возьмут вдруг и сделают, а тебя все нет, и все нет и нет, никто ж не знает, что ты где-то там беспробудно задрых, а у них суточный простой — это лишение премии, а за такое буровики и убить могут, они там тоже ведь не задаром корячатся, видел я этих помбуров, с них станется.

И так день за днем и раз за разом, и когда на четвертое утро мы с Петровичем проснулись в кабине и принялись вроде как потягиваться, оказалось, что наш грозный ЗИЛ стоит, упершись бампером в огромную ель, стоит вмертвую, но и стоя упрямо рычит на пониженной, плотно сев на мосты, исправно крутит всеми колесами в образовавшихся под ними ямах, — потому что такая вот зверюга «сто тридцать первый», на нем хоть в огонь, хоть в воду.

И ничего, продрали глаза и поехали дальше, для начала пришлось оттянуться назад метров на десять, да что нам десять метров, у нас на барабане этих метров четыре тысячи — четыре тысячи метров бронированного кабеля, отмотали с лебедки сколько надо, цепанули за ближайшую листовницу или крепкие ветви кедровника, подтянулись по-рачьи — вот и все проблемы, можно двигать дальше, разве что солярки много за ночь ушло, такая уж прожорливая сволочь этот «сто тридцать первый».

В общем, я все рассказывал и рассказывал, перескакивая с одного на другое и с другого на третье, ведь хотелось обо всем, все наворачивалось на язык, требуя обнародования. И как смешно меня в первый раз кормили икрой, и как потом учили ее солить, и как вскоре сам я советовал одному парню правильно использовать того калужонка, что дуриком запутался в его сетях и лежал теперь, ткнувшись в черный песок бездыханным рылом, вытянувшись во всю свою двухметровую, покрытую чешуйчатými доспехами длину...

И еще, еще бог весть о чем я толковал, нес все в кучу без разбора, ведь как ни перевороши, в любом случае куча получалась увлекательная, за что ни потянешь, все к месту, как вдруг мама задумчиво произнесла:

— Значит, к Лене ты не собираешься.

* * *

Сказано это было ни к селу ни к городу: я рассказываю про Сахалин, а она вдруг о Лене. При чем тут Лена?

Но, если честно, ее полувопросительная фраза не прозвучала для меня слишком уж неожиданно. Я знал, что когда-нибудь мама об этом непременно заговорит. И ждал. Даже, может быть, надеялся. Потому что в противном случае мне пришлось бы заговорить самому. А мне не хотелось. Мне и разговора как такового не хотелось, я бы без него отлично обошелся. Но ведь все равно придется когда-нибудь прояснить обстоятельства.

Я бессознательно, по-детски оттягивал этот момент: говорить о чем угодно и в какой угодно последовательности, нести с Дона и с моря, толковать обо всем подряд, лишь бы не касаться того, что действительно ждет какого-то разрешения.

Однако это если совсем уж честно. А так-то мое удивление было совершенно справедливым.

Я и ответил в таком духе: мол, при чем тут Лена? Дескать, я разъясню насчет котлет, оставшихся последним способом приготовления горбуши, при котором она может полезть в глотку, не сказать что с большим удовольствием, но хоть как-то, да и то еще если в каждую котлетину, когда лепишь, положить кусочек сливочного масла, — ну и при чем тут, спрашивается, Лена?

Я мог бы и резче. Я мог бы даже заявить, что они сами виноваты, что все так вышло. У меня были серьезные основания, чтобы так сказать.

Но тогда придется объяснить, что именно вышло...

И разве я в этом виноват? Разве не я просил, даже умолял не вызывать милицию? Не я ли пытался убедить, что кончится совсем не тем, на что они рассчитывают?

Я, именно я: полночи провели тогда в спорах.

Не надо звать милицию, твердил я, толку не будет, не вернут вам ни денег, ни облигаций, ни даже красных французских туфель. Заявление примут, дело откроют, а вора не найдут. То есть настоящего вора. Настоящего вора даже не подумают искать. Зачем кого-то искать, если все уже найдено? От добра добра не ищут. Вам вора? Пожалуйста: вот он стоит, только руку протянуть. Явился из Москвы, весь в долгу как в шелку, проигрался, небось, или на девок спустил. Он это, он. И деньги попятил, и облигации, и, главное, эти несчастные туфли.

Конечно, милицейское обвинение покажется вам диким, вы станете протестовать. Вы-то уверены, что ваш сын не мог совершить преступления.

Но дело в том, что после того, как папа подаст заявление, ваша уверенность потеряет какое-либо значение. Совсем другие колеса закрутятся — государственные. А каждый их оборот подтверждает, что значение имеет не столько суровость наказания, сколько его неотвратимость. И правда, раньше за такое руки рубили, ныне куда гуманнее, всего-то двушка ломится, по первой ходке за кражу больше не дают. Если, конечно, нет отягчающих, а они пока не просматриваются.

И напрасно вы говорите, что раз я готов родную милицию заподозрить бог весть в чем, значит сошел с ума. Я ведь против милиции ничего не имею. Если, конечно, не считать того случая с Персиком. Тогда мне подумалось, что лучше вам не рассказывать, как-то не с руки было, а теперь и вовсе не до того. Но сам я отлично помню, как мы сидели вчетвером на скамейке в сквере за театром, курили болгарские сигареты «ВТ», трепались о выпускных, были прилично одеты и ждали подходящей минуты, чтобы распить полулитровую бутылку вина, лежавшую во внутреннем кармане Лукичева пиджака, — то есть, короче говоря, не совершали ничего предосудительного.

На соседней скамье расположились три молодых мужика. Один подошел

прикурить. Узким лицом он походил на киноактера. Правда, глаза не имели того твердого выражения, что свойственно глазам киноактеров. Он был пьян, и глаза немного плавали.

Виртуоз Федул ловко вынул из кармана зажженную спичку. Но вопреки только что высказанному желанию, тот не стал прикуривать. Вместо того он ответным жестом извлек из-под полы пиджака большой пистолет и с ухмылкой наставил на Федула.

Все мы оцепенели, но больше всех Федул. Спичка догорала и жгла ему пальцы, а он, раскрыв рот, немо смотрел в дырку ствола.

Тем временем подтянулись два других. Один тоже достал ПМ, другой махнул удостоверением. Они потом не раз еще тыкали в нос своими долбанными корочками: «Ну-ка, тля, читай! Видишь? Сидеть!»

Мне было так страшно, что если бы не опасение, что кто-нибудь из них сдуру пальнет в спину, я бы точно кинулся бежать.

Обыск ничего не дал, только бутылка, описав красивую дугу на вечернем солнце, с костяным хрустом разлетелась в черную лужу пахучего портвейна. «Встать!» Когда ты вставал, следовал толчок в грудь: скамейка ударяла под колени, ты со всего маху об нее бился, в глазах плясали разноцветные букашки.

В конце концов им наскучило, и они неспешно удалились в сторону летнего ресторана. Оттуда доносилась приятная музыка, долетал запах шашлыка. Один обернулся и напоследок еще раз погрозил стволом.

Федул напряженно толковал, что хорошо бы в отместку кому-нибудь тоже набить морду, неважно кому, кто подвернется. Идея выглядела заманчивой, но все же была признана абсурдной, мы его не поддержали. Андрюша Козлов сказал со вздохом, что если об этом происшествии кто-нибудь узнает, у его партийно-правительственной матери будут большие неприятности, а что до него самого, то ему просто каюк. Толян, с которым мы жили в соседних дворах, сообщил, что одного он знает: красавчик этот, с актерскими глазами, в нашем околотке участковым. И зовут его Персик.

Полночи я строил планы мщения — подстеречь... догнать... отвести в сквер... и об скамейку его, об скамейку! Планы были нереалистичны. Красивое лицо Персика представляло собой лицо власти, а с властью самый отпетый старшеклассник не стал бы иметь дела.

Следующим вечером раздался звонок в дверь.

Я открыл — за порогом стоял Персик!

Ноги мои подкосились. Я решил, что Персик пришел меня арестовать и посадить в тюрьму за то, что вчера я курил в сквере. Впрочем, это приблизительно, а если быть точным, в голове не было связных мыслей: ужас обеспечил их полное отсутствие.

Но оказалось просто совпадение. Персик был в форме и деловит. По мне он мазнул взглядом и явно не узнал, а зашел по долгу службы — проверить документы на отцово ружье.

Папа был дома, они разобрались с бумагами, и Персик ушел, напоследок так задумчиво на меня посмотрев, как будто уже, сволочь такая, что-то припоминал.

Глаза у него в этот раз были не пьяные.

Про мои собственные мать сказала, что никогда таких испуганных не видела, и долго недоумевала, что могло так меня всполошить. Объяснить ей, что я увидел лицо власти, способной ни за что ни про что бить тебя всем телом об скамейку, я не мог. Потому что тогда пришлось бы рассказывать и про портвейн, а этого мне делать не хотелось.

Кроме того, я точно знал, что она поверит всему: и что мы сидели на скамейке и курили, и что матерились, и что хотели пить портвейн, — всему, кроме главного: что

этот симпатичный парень, одетый в чистую милицейскую форму, — мерзавец и подонок, и такие же мерзавцы и подонки другие двое, что были с ним вчера.

Но той ночью я не хотел говорить ни о Персике, ни о том, что люди разные бывают. Я говорил о логике. Логика, говорил я, всего лишь логика вынудит завтрашнюю милицию сделать неопровержимые умозаключения на мой счет. Это же очень просто. Дано: подломили квартирку, обнесли честных трудящихся. Надо выяснить, кто это сделал. Куи, так сказать, продэст. Давайте рассуждать логически. Первый вопрос: как именно совершено преступление? Обследование показывает, что дверь цела, следы взлома отсутствуют. То есть дверь открыли ключом. Вопрос второй: у кого есть ключ, и кто для этого гнусного дела мог им воспользоваться? У тебя, мама, есть ключ и у тебя, папа, есть ключ. Но ведь вы не стали бы у самих себя воровать, верно? Может быть, у кого-нибудь еще есть ключ? Ага, у вашего сына тоже есть ключ!..

Я никого ни в чем не убедил.

* * *

Не знаю, в котором часу папа отправился в РОВД, но когда я, проснувшись, обнаружил в доме целую толпу посторонних, не было еще и половины восьмого.

Один был в форме с майорскими погонами, прочие по гражданке. На меня все они поглядывали вскользь и примерно одинаково. Какой-то усатый ткнул пальцем и спросил с подозрением:

— Это кто?

— Это сын мой! — сказал папа так, будто подвел всем видную черту, так что отныне никто никогда ничего в отношении этого молодого человека не может заподозрить: ну и впрямь, как такое возможно, если это его сын!

Меня никто ни о чем не спрашивал, а если бы и так, что толку было утаивать правду, если ее все равно настезь раскрывала мама.

В ее голосе проскальзывала та натужная насмешливость, с какой говорят о собственном конфузе. Ну и понятно: нормальный человек чувствует себя виноватым, если его обворовали.

Вот, восклицала она, раз за разом пересказывая всю историю, глупость какая! Ну что ты будешь делать, прямо как в войну. У нас, знаете, в Курган-Тюбе корову увели, я еще маленькой была. Но ведь совсем другие времена, кто бы мог подумать!.. Главное, как обнаружили, просто смешно, кому сказать не поверит. Я с работы шла, а три дня назад новые туфли купила, вот иду и думаю, надо еще раз примерить, новые туфли-то, в четверг взяла, какое-то сомнение вдруг, просто убедиться, не жмут ли. Кинулась, а коробки нет. Я прямо обомлела. Я туда, я сюда, ума не приложу, куда могли деться, ведь были, в ЦУМе этими вот руками брала, недели не прошло. А сын как раз к Лене поехал, это одноклассница его, в школе учились, они дружат, он когда на каникулы приезжает, обязательно встречаются, вот я и думаю, может, он решил Лене мои туфли подарить? Даже смешно, но ведь когда не знаешь, что подумать, самые глупые мысли в голову лезут, ведь были, точно были туфли, а теперь нет. Ну а уж когда муж с работы пришел, стали смотреть. Господи, оказывается, и деньги, что под бельем лежали, и облигации... ну смех да и только!..

Ничего не опасаясь и, похоже, ни о чем не думая, она вязала мне сущую петлю.

А я стоял на кухне — и что?

Да ничего, что мне было делать... предчувствия у меня были нехорошие... да что предчувствия, я к ним уже привык, меня от них с прошлой ночи подташнивало.

Досыта наслушавшись, менты стали сворачиваться. Замок решили взять на экспертизу. Усатый в форме попросил отвертку. Другой открутил. Открученное завернули в газетку. Папа спросил, нужно ли снимать ответную часть. Недолго посоветовавшись, решили, что ответную часть снимать не нужно.

Еще некоторое время потоптавшись и погалдев, все удалились: менты унесли замок, папа ушел с ними, мама тоже убежала на работу, а я, отчасти даже приободренный тем, что меня не сразу поволокли в кутузку, остался по-собачьи охранять квартиру: дверь теперь закрывалась на бумажку.

* * *

Все утро мы проболтали. Повествуя об обстоятельствах этой нелепицы, я невольно представлял, как Лена одной рукой держит трубку, а другую прижимает к щеке. Ну или хотя бы первые два или три раза так делает, а потом ужасается на словах, без жестов. Но я храбрился и шутил, представляя в лицах, как оторопел спросонья, когда они повалили в квартиру, и как смешно и глупо откручивали замок, и как на меня все они смотрели такими глазами, будто если оставить меня на минуточку без внимания, я тут же по привычке побегу грабить сберкассу.

Лена хохотала и говорила, чтобы я уже перестал, что я совершенно уморил, а я представлял, как она от смеха машет рукой и опять, наверное, прижимает к щекам ладони, она так делала и когда я ее до изнеможения смешил.

Если бы нас не обворовали или хотя бы не открутили замок и квартира бы закрывалась не на одну бумажку, я бы уже ехал к ней. Времени оставалось совсем мало, меньше недели, я уже был в агентстве и купил билет. Но теперь приходилось дожидаться, когда вечером придет папа с новым замком.

Потом позвонили в дверь. Какой-то хмурый пацан молча сунул мне квитанцию из прачечной и тут же ссыпался на лестнице.

Но это оказалась не квитанция. На плохой бумаге в четвертушку писчего листа сверху было напечатано: ПОВЕСТКА. Вписанное от руки сообщало, что я (фамилия, имя, отчество и даже год рождения были указаны верно) должен явиться такого-то числа к 9-00 по такому-то адресу. Кабинет 12, Ибрагимов К.К.

Такое-то число — это было завтра.

Настроение заново испортилось. Я перезвонил, чтобы сообщить новость. Лена посочувствовала. Ладно, сказал я, ну что делать, придется сходить. Загляну туда часам к одиннадцати. Не знаю, чего хочет этот Ибрагимов К.К., что уж так приспичило ему меня увидеть, прямо неймется, вообрази. Но долго сидеть я не собираюсь. Все равно мне сказать нечего, кроме правды, а ведь правду говорить легко и приятно, к тому же она очень короткая, так что я скажу и сразу к тебе, хочешь? А сегодня я не могу, если бы этот чертов замок не открутили, тогда бы конечно, а теперь я должен сидеть, как собака. Может если совсем вечером, хорошо?

Ну конечно, ответила Лена, сегодня или в крайнем случае завтра, я буду ждать.

Однако мы не увиделись этим вечером.

Мы вообще никогда больше не увиделись.

* * *

Папа пришел часа на полтора позже обычного, он заезжал купить замок в хозяйственный, там подходящего не нашлось, он поехал в другой. Как назло и мама почему-то задержалась. Так что когда я освободился, был уже девятый час.

Хорошо, что я решил позвонить перед выездом. Не знаю, с чего это пришло мне в голову, просто на всякий случай или, может, хотел показаться столичной штучкой. Вообще-то у нас это не было принято, в небольших городах не звонят по сто раз, там просто встречаются и смотрят друг другу в глаза. Она ведь сказала, что будет ждать.

Минуты две я слушал длинные гудки, опять набрал, потом минут через пять, потом еще сто раз звонил, а потом уж перевалило за одиннадцать.

Все это было странно, и уже разбираясь ко сну, я подумал, что сглупил, ведь у них мог сломаться телефон и нужно было не крутить попусту диск, а сразу ехать.

Утром, уже собираясь выйти из дома, я позвонил снова.

Как ни странно, телефон работал, трубку взяла ее мама.

Я поздоровался и назвал ее, хотя она давно уж узнавала меня по голосу, и попросил Лену.

Обычно она отвечала чем-нибудь вроде «ну конечно» или «минутку-минутку», но сейчас помолчала, как если бы я попросил чего-то необычного, и ей понадобилась секунда или две это обдумать и, так ничего и не сказав, с негромким стуком положила трубку возле аппарата.

Голоса слышались, но разобрать ничего было нельзя. Лена подошла. Я уже хотел сострить по поводу их неожиданного и странного смятения, но она начала говорить сама, только я опять ничего не понял, потому что сравнительно внятно прозвучала лишь бессодержательная половина неясной в целом фразы, а окончание потерялось в рыдании.

Я все повторял свое «алло», хотя было ясно, что у телефона опять никого нет, Лена с мамой пререкаются в некотором отдалении. Отдельные слова не лепились друг к другу, но вот и они смолкли, и настала такая тишина, будто обе они упали в обморок или кинулись из окна. В любом случае было похоже, что со мной говорить никто не собирается. Я разозлился и уже хотел положить трубку, когда снова что-то захрустело в проводах, и я поразился, что Лена сумела взять себя в руки и унять слезы загадочного для меня огорчения.

Однако это оказалась не Лена, а снова ее мама. Она взвинченно выпалила, что ни подарков таких, ни таких вот неприятностей им от меня не нужно.

И чтобы я больше не звонил.

— Каких неприятностей? — ошеломленно спросил я. — Каких подарков?

Послышались короткие гудки. Я нажал на рычаг и снова тупо набрал номер, но она, судя по всему, не только бросила трубку, но и отключила телефон.

* * *

Я шагал так же стремительно, как прошлой ночью, когда торопился попасть домой... Вдруг я сообразил, что это было вовсе не вчера, а позавчера: нелепый вчерашний день рассыпался сущей трухой и не задержался в памяти.

Сегодня спешки не было, и все же я летел во весь мах — летел, чтобы умерить бурлившее во мне клокотание.

Я еще не знал, как все на самом деле поворачивается, а потому думал вовсе не о том, как сейчас приду к этому Ибрагимову и что из этого может выйти.

К Лениной маме я, честно говоря, прежде не питал никаких чувств: ни особой симпатии она у меня не вызывала, ни раздражения, но мы и виделись-то считанные разы.

Теперь же я испытывал отчетливую и объяснимую неприязнь: не сделал я ей ничего такого, чтобы она швыряла трубку! А почему Лена так себя повела и что там у них вообще происходит, мне тем более трудно было вообразить.

Это стало известно мне позже, когда уж все стало намертво заворачиваться, и мама кинулась искать какую-нибудь помощь: стали всплывать в разговорах подробности, а с Лениной мамой она тогда сто раз разговаривала по телефону.

Но сейчас я еще не знал, а оказывается, вчера — как раз незадолго до того, как я начал трезвонить, — им позвонили в дверь.

Ленина мама подумала, что это соседка, и открыла без всякого «кто там». За порогом обнаружили два милиционера, оба таджики.

Для начала они вежливо спросили, здесь ли проживает Данилова Елена Валерьевна. Мама ответила вопросом: а в чем дело? А в том, что если здесь, а по их данным это так и есть, Елене Валерьевне следует проехать с ними. Куда проехать? В отделение проехать. Зачем?! Для прояснения кое-каких обстоятельств. Каких обстоятельств?! У следователя узнаете.

На улице уже было темно, мама боялась, не поддельные ли милиционеры эти таджики, она слышала, как выманивают из дома доверчивых женщин, а потом бездыханные тела находят далеко в горах.

Однако милиционеры настаивали, лейтенант неоднократно показывал корочки, несколько обнадеживало и наличие у подвезда натурального милицейского «газика», и в конце концов они поехали.

Следователь начал разговор, не делая даже попыток оторвать встревоженную мать от перепуганной дочери. Прокуренный кабинет был неуютен, с потолка свисала голая лампочка, на столе стояла канцелярская лампа, слоились папки с завязками.

Знакома ли Елена Валерьевна с таким-то?

Как же она может быть не знакома, если в одном классе учились, отвечала мама.

Елена Валерьевна, а какие у вас с этим таким-то отношения?

Да какие у них отношения... у них просто... они ведь...

Мама, перебила Лена, давай я отвечу. Мы решили пожениться, вот какие отношения.

Вот тебе раз, сказала мама.

То есть он вам так сказал, спросил следователь.

Да, он вчера мне так сказал, ответила Лена.

А документальные подтверждения имеются?

Ну вы сами-то подумайте, возмутилась мама, какие могут быть документальные подтверждения, если дети только вчера решили!..

То есть нет документальных подтверждений, подвел черту следователь, одни разговоры. Хорошо, Елена Валерьевна, тогда ответьте на другой вопрос: этот такой-то привозил вам в подарок красные туфли?

Лена и мама оторопело переглянулись. Туфли? Какие туфли?

Следователь заглянул в папочку. Французские туфли.

Французские туфли?

Да, тут написано — французские. Красные французские туфли. Привозил?

Да вы что, какие красные французские туфли!

Не упирайтесь, Елена Валерьевна. Привозил?

Ничего не привозил! В глаза мы не видели никаких красных французских туфель!

Подумайте как следует, Елена Валерьевна, потом жалеть будете. Куда вы их дели?

Он не привозил, мы не девали.

Понятно, понятно, если будете упираться, я выпишу постановление на обыск.

Была уже половина двенадцатого, когда следователь утомленно откинулся на стуле. Лучше бы Даниловой Елене Валерьевне не хлопать глазами, делая вид, что она ничего не знает, сказал он. Лучше бы Елене Валерьевне не тянуть резину, а сразу расколоться и рассказать все начистоту. Но если так, вам же хуже. Эй, Азимов!.. Заглянул Азимов. Вот что, Азимов, сказал следователь, скажи-ка Мирзоеву, чтобы отвез этих упрямых гражданок, где взял.

Ничто из этого мне еще не было известно...

Я вошел в пахнувший хлоркой предбанник. Сивоусый дежурный в фуражке набекрень скосил глаз на повестку и махнул рукой так, словно выпускал голубя.

Я поднялся на второй этаж и постучал в дверь.

* * *

Дверь снаружи была обита железными полосами с заклепками на манер старинного сундука.

Мама нажала на кнопку, внутри едва слышно запиликал звонок.

— Кто?

— Лидия Михайловна, мы от Марины, она говорила, что вы...

Дважды щелкнуло. Потом еще дважды щелкнуло. Потом еще. Снаружи было шесть скважин, но громыхнуло только четырежды. Два замка холостяковали, но и без них степень обороноспособности этой двери производила сильное впечатление.

Когда Лидия Михайловна, оказавшаяся миловидной женщиной средних лет, одетой хоть и по-домашнему, но очень аккуратно, отступила в прихожую, пропуская нас, я сказал:

— Здравствуйте... Ну и дверь у вас... крепость!

— У всех судей такие, — отмахнулась она. — Диамат наверное проходите? Жизнь диктует нам свои суровые законы. Чай будете?

Мама горячо отказалась, но потом как-то само собой вышло, что мы все же стали пить чай.

— И вот, понимаете, никакой жизни нет, — говорила мама. — Да если бы я знала, что выйдет. Если бы я могла предположить!..

— Да, да, — кивала Лидия Михайловна. — Такая практика, верно. С одной стороны, их, конечно, можно понять, но... — Она снова окинула меня взглядом и покачала головой. — У нормального человека и мысли такой не может возникнуть. Чтобы этот юноша — и... просто нет слов!

— Вот именно! — с жаром соглашалась мама. — Разве он мог?! Это же смешно. Но ведь Ибрагимов ему продыху не дает! Сын ходит туда каждый день как на работу, да еще чтобы как штык к девяти утра, а иначе тот грозит в СИЗО его отправить!

— Прямо уж в СИЗО? — удивилась Лидия Михайловна.

Я пожал плечами. Во всяком случае, так Ибрагимов говорил. Когда я в первый день явился без чего-то двенадцать, он долго орал, маша повесткой, что мягкосердечен по натуре, но если я сделаю еще раз попытку уклониться от ответственности, он возьмет меня под стражу. Мне не до конца верилось, что он исполнит угрозу, но проверять справедливость своих сомнений я не решался.

— И он сидит там целый день! — объясняла мама.

Ну да. Ближе к вечеру Ибрагимов заполнял бланк новой повестки, вручал мне, и я был свободен до девяти утра. Утром я приходил к запертому кабинету. Думаешь, у меня других дел нет, говорил он, если я интересовался, стоит ли мне сидеть в его отсутствие. Сам виноват, давно бы уже раскололся, и все. А ты не хочешь по-хорошему, уперся, в несознанку пошел. Вот и сиди. К девяти пришел, у дежурного отметился — и ни с места.

Раньше или позже мы все-таки приступали. Пьеса была короткой, выдолбить ее не составляло труда. Реплики Ибрагимова звучали вопросительно: зачем украл, кому отдал. Мои — отрицательно: нет, я не крал и как я мог кому-то отдать, если ничего не было. Ответы соответствовали вопросам и в какой-то степени являлись причиной следующих.

С моей точки зрения наши беседы были бессмысленны, ведь я-то знал, как обстояло дело в действительности. Но и его я мог понять: донимая меня одним и тем же, Ибрагимов надеялся услышать нечто такое, что противоречило бы тому, что я говорил раньше, — и получить наконец правдивые свидетельства. Пьеса одна, но роли все-таки разные.

— А сегодня сын ему сказал, что послезавтра улетает. Так он хочет завтра подписку о невыезде с него взять!

— Господи! — удивилась Лидия Михайловна. — Так и сказал?

Я снова пожал плечами. Ну да, так и сказал.

— В общем, вот что. — Лидия Михайловна аккуратно поставила чашку на блюдце и подняла на меня неожиданно строгий взгляд синих глаз. — Повестку можешь засунуть куда подальше. Билет на завтра? Вот и улетай спокойно. И вы не думайте ничего, — она твердо посмотрела на маму. — Совсем обалдели, на кого вешают! Сейчас поздно уже... я утром Нарзикулову позвоню, он их там приструнит.

* * *

— Значит, к Лене ты не собираешься, — сказала мама.

И да, я бы мог ответить, что это они во всем виноваты!.. что я просил их не ходить в милицию!.. сами они не могли себе такого и вообразить, а меня не послушали!.. и потом вот так все и вышло.

Но ведь жизнь — это не время, которое идет само собой. О своей жизни ты сам заботаешься, а никто иной за нее не отвечает. Ты сам все решил и сам все сделал. Может быть, ты решил неверно. А затем, может быть, и поступил неправильно. Но ведь не мама с папой в этом виноваты. И даже не следователь Ибрагимов...

Поэтому я ответил совсем иначе. Объяснил, как теперь обстоит дело. И что, по моим расчетам, должно и будет происходить в ближайшем будущем. В том смысле, что я хотел бы, чтобы оно происходило.

Возможно, для них это было неожиданно. Даже скорее всего.

Тем не менее теперь все прояснилось. В такой ситуации умолчаниям не место. Да, сказал я твердо, вот так обстоит теперь дело.

Хотя и сам еще не знал толком, как оно обстоит. Главное, того не знал, хуже оно обстоит или лучше. И уж окончательно меня взвинчивало то, что я и не мог этого знать. Вообще не мог, не мог в принципе, как никто и никогда не может знать, хуже или лучше он делает, когда принимает то или иное решение.

Но все равно: главное было сказано, черта подведена, дальше можно было ни о чем меня не спрашивать. Ничем иным я уже не мог их обрадовать.

И все же мама спросила, спросила задумчиво и даже печально:

— А как же Лена?

Я только поморщился.

Вместо меня ответил папа.

— Да ладно тебе, — сказал он. — Ну, сама посуди. Не может же он на всех жениться?

Мы помолчали. Мама задумчиво чертила на скатерти черенком чайной ложки. Папа сидел, повесив нос. Потом он вздохнул и встрепенулся.

— Ну ладно. Что вы такие грустные? Хотите, развеселю? Все забываю тебе сказать, я пару дней назад того майора встретил. Того усатаго.

— Майора? — нахмурилась мама. — А, того усатаго? И что?

— Какого майора? — спросил я.

— Да говорю же, того самого. Помнишь, у нас замок откручивали, — сказал папа. — На экспертизу. Так вот готова экспертиза, года не прошло.

— Ну?

— Экспертиза показала, что дверь вскрыта подбором ключа, — сказал папа. — Отмычками то есть. А ты бы отмычками не стал орудовать, верно? У тебя ведь был настоящий ключ. То есть ты не виноват. Это был не ты.

Я покивал.

— Как здорово... А я-то все думаю, виноват я, не виноват...

— Такое дело нужно отметить, — сказал папа. — Не каждый день получаешь подтверждение собственной непричастности.

— Можем хороший плов сварить, — предложил я.

— Можем, — кивнул папа. — И запить чем-нибудь... Ветуся, у тебя есть кусок махана?

— Найдется, — сказала мама.

— Лук нарежем тоненько-тоненько! — сказал папа, причмокнув от удовольствия.

Он часто отпускал это вечное свое замечание насчет лука: лук надо резать тоненько-тоненько. Нарезем лук тоненько-тоненько. Повторял с выражением, в котором было непонятно чего больше: то ли насмешки, и если да, то над самим собой или над кем-то или кем-то давним, то ли ностальгии по тем временам. Он всегда так говорил, когда речь заходила о какой-нибудь готовке: а лук мы нарежем тоненько-тоненько!

С этим нельзя было ни спорить, ни соглашаться, это было просто присловье. Как любое иное присловье, оно требовало только повторения, а вовсе не понимания, разгадывания или тем более корректировки.

Но я чувствовал неясную досаду, смутное недовольство, какую-то не до конца понятую обиду, хотя мне совершенно не на кого и не на что было обижаться. В общем, не знаю почему, но в тот момент меня охватило нелепое волнение.

Как говорится, что-то вдруг нашло — и я пустился спорить.

Тоненько-тоненько, фыркнул я. Нет, папа, что ты опять про этот свой лук, сколько можно, честное слово. Разве в плове это важно? Для плова вовсе не нужно резать лук так вот, как ты говоришь, — тут я попытался воспроизвести его интонацию: тоненько-тоненько. Для плова это совсем не обязательно. Это для салата лук нужно резать именно так, как ты говоришь: тоненько-тоненько. Для шакароба, скажем, важно или еще для чего, или жареное мясо посыпать, тогда и впрямь имеет значение, как нарезан лук, сразу видно, если его кое-как нарезали, чуть не половинками порубили. А в плов-то что? Плову все равно, плову какая разница, тоненько-тоненько нарезали или потолще, все равно в казане все пережарится, лук растворится, его вообще видно не будет, никто потом не поймет, как он был нарезан!..

Я замолчал, ожидая, кажется, чтобы со мной вступили в разумную, аргументированную полемику.

Но мама с папой только вздохнули и грустно переглянулись, словно я сморозил глупость. Или просто еще не дорос до понимания каких-то важных вещей.

Анатомия свиньи

Прежде чем приступать к приготовлению пищи, начинающему кулинару необходимо получить базовые представления о том, с чем ему придется иметь дело. Неплохо, например, знать отличие кастрюли от сковороды и скороварки от сотейника, что имеется в виду под варением, жарением, тушением и пассеровкой, а также почему при варке шей сначала закладывают картофель, а потом уже квашеную капусту, и т.п.

Коротко говоря, начинающего кулинара не должны ставить в тупик простые вопросы оборудования и технологии.

Кроме того, ему надлежит иметь сведения о наиболее распространенных в практике продуктах как растительного, так и животного происхождения, и уверенно отличать съедобные их части от несъедобных или ядовитых.

Крайне желательно, чтобы при начале своей деятельности он научился детально разбираться в строении тел разных видов пернатых, рыб и скотов, употребляемых в пищу.

В силу широкой распространенности свиного мяса как сырьевого продукта и обширного круга запросов на его пищевое приготовление обязательность такого рода знаний в первую очередь касается анатомии свиньи.

* * *

Зимой второго курса я пригласил в Душанбе своего друга Сашу. Родители дали ему денег на билет, и мы явились вместе.

Прилетев из чужой московской зимы в родную душанбинскую, человек, особенно если ему нет еще и двадцати, не может не испытывать щенячьего восторга. Я переживал его в полной мере и немного удивлялся, почему мой друг не вполне его разделяет. Мы бродили по городу, я знакомил Сашу с моими друзьями, мы что-то ели и что-то пили — в общем, наслаждались беззаботностью. Наверное, было множество мелких событий. Я запомнил только три.

Первое произошло при следующих обстоятельствах. Проштатавшись весь день и уже еле волоча ноги в ранней темноте по оживленной улице Ленина, мы вышли на одноименную площадь, где стоял памятник.

Большой, в два, а то и три человеческих роста, он возвышался на платформе массивного, ступенчато воздвигавшегося от земли каменного сооружения, отдаленно напоминавшего пирамиду. Вправо и влево от вершины широко расходились гранитные крылья. Во время майских и ноябрьских демонстраций на них стояли почетные гости. Головка республиканского руководства размещалась на отдельном возвышении по центру, прямо под дланью вождя.

Сейчас на трибунах никого небыло. Ленин как ни в чем не бывало тянул руку с кепкой.

— Это что, — сказал Саша, доставая из кармана очки. Он был умеренно близорук. — Памятник?

— Ну да, — сказал я. — Памятник. — А потом добавил зачем-то: — И мавзолей.

— Какой мавзолей? — спросил он, щурясь, чтобы понять, что там громоздится в густых сумерках под памятником и возле.

— Ну какой, — я пожал плечами. — Обыкновенный. Республиканский. Это же главная площадь.

— Республиканский? — Саша сдернул очки и воззрился на меня. — Как это?

— Саша, ты москвич, — спокойно разъяснил я, с бесконечной натугой сдерживая рвущееся наружу веселье. — Вот и не знаешь. Ты нигде больше не был. Ты же дикарь. Для тебя пуп земли — Москва.

Если бы это происходило лет через десять, я бы еще добавил саркастически: «На Красной площади всего круглей земля». Но в ту пору я еще не знал Манделъштама, Манделъштам был запрещен.

— Я же и в Красноярске! — запротестовал он. — И в Перми! Там тоже большая площадь, но...

— Это не столицы, а просто города, — холодно пояснил я. Не знаю, из какого источника я черпал свое ледяное самообладание. — Областного подчинения или какие они там. А Душанбе — республиканская столица. В каждой республиканской есть свой мавзолей. Насчет автономных не скажу. Что тут такого? Не знал?

Я думал, Саше хватит рассудка, чтобы все-таки поднять меня на смех. Тогда мы вдоволь нахохочемся, сядем на девятый и через двадцать минут будем дома есть мантушки с каймаком.

Но оказалось, я бросал семена в подготовленную почву. Саша поверил сразу и безоговорочно. Мы пошли пешком, и всю дорогу он ужасался, в какой стране живет. Я его не расхолаживал, я ведь думал, что шучу.

Не знаю, что стало с его уверенностью позже, но, когда мы улетали, она еще была при нем. Вероятно, Саша какое-то время и позже нес ее по жизни как доказательство много чего. Доказательство несомненное, ведь он все видел своими глазами.

Затем я учил его есть самбусу. Самбуса — это тандырные пирожки с луком и кусочком курдюка. Ошпаз достает их из светящегося зева печи, орудуя пикой. Он сковыривает пирожок с вогнутой стенки, подставляя что-то вроде сетчатого дуршлага. В кремово-коричневой с подпалинами скорлупе каменно схватившегося теста плещется не имеющее выхода огнедышащее варево лукового сока и растопившегося сала.

— Надо подождать, пока чуть остынет, — разъяснял я. — А потом аккуратно так, осторожно...

Саша плохо усвоил материал. На нем было шикарное импортное пальто. Издали казалось, что оно пластмассовое, вблизи в нем угадывалось что-то от рыцарских доспехов. Мы съели по три штуки, и все курдючное сало осталось на лацканах и полах длинными белыми потеками. Когда мы явились домой, мама просто ахнула.

Третье событие было совсем незначительное. Не событие даже, а просто элемент быта. Папа только что стал директором, мама работала ученым секретарем Института химии. Им было некогда нами заниматься, и чтобы в ближайшее время не приходилось думать хотя бы об основных покупках, папа после работы отвез нас в магазин — тогда открылся новый длинный на Ленина за поворотом на Путовский. И мы за один раз купили столько всего, что потом две недели ни о чем не думали: несколько кур и уток, большие куски говядины, баранины, свинины, много разного.

Но времена меняются.

* * *

От аэропорта как правило добирались пешком — минут двадцать неспешной ходьбы. Вещей у меня всегда было немного. Однако с некоторых пор я стал вдобавок к сумке получать из багажа крепко перевязанную картонную коробку из-под водки.

Троллейбуса было глупо ждать, кто его знает, когда он явится, а тут всего-то две остановки. Так что и с коробкой шли пешком. Папа тогда уже ходил с горем пополам, опирался на палку и беспрестанно тормозил: то его стенокардия душит, и он должен передохнуть, то ему срочно покурить, и мы опять останавливались.

В конце концов он махал нам: идите, мол, не ждите, я догоню. И приходил получасом позже, когда я уже начинал распаковывать.

Я ставил коробку на табуретку и развязывал узлы. Если правильно завязывать, потом и развязывать легко. Коробка требовалась на два рейса, обратно я вез в ней хурму и лимоны, и она отлично выдерживала. А веревке вообще ничего не делалось, крепкая была веревка, просто вечная, только с годами, набираясь аэрофлотовской грязи, все больше темнела — была белая бельевая, а стала черная.

Папа громыхал палкой в прихожей. Наконец разувался и заходил к нам на кухню. Я как раз начинал выкладывать.

Мама, которой предстояло разместить в холодильнике оказавшиеся в ее владении сокровища, смотрела на них в краткой творческой задумчивости.

— У-у-у! — говорил отец, кривя рот усмешкой. Он вкладывал в этот краткий звук много разных чувств, главным из которых было одобрение. Даже, возможно, восхищение. — Сила! Сам паковал?

Этот лишний вопрос — кто еще мог паковать эту тяжеленную коробку? — был скрытым комплиментом насчет качества укладки.

Ну да, моя коробка всегда была набита под завязку, кусок к куску, каждый в отдельном полиэтиленовом пакете. Я по несколько раз тасовал замороженные ломти, комбинировал, чтобы плотнее. Иной раз не все влезало, оставшиеся я заворачивал для теплоизоляции в газеты и совал в портфель, отлично доезжали.

Я скромно хмыкал.

— Свинина, — полувопросительно констатировал папа.

— Свинина, — кивал я.

— Надо же, — со странным смущением в голосе говорил он.

Что я мог ему сказать?

Большинство советских людей имело в корне неверное представление об анатомии свиньи. Разглядывая прилавки мясных магазинов, можно было прийти лишь к одному выводу: организм нежвачного парнокопытного состоит из окровавленных костей, кусков желтого сала и щетинистой шкуры с синими печатями.

Я и сам, каюсь, придерживался этих распространенных заблуждений, пока Женя не познакомился с рубщиком Сашей из магазина на Малой Ордынке.

Вообще-то мне этот магазин и прежде был отлично знаком.

У окна будка кассы, справа бакалея, слева овощи-фрукты. В центре — мясной отдел. В витрине — осклизлые куски коровьего вымени. На эмалированном подносе — бурые кости с ошметками сала и заскорузлой шкуры. Невозмутимый продавец в грязном халате.

Первая в очереди покупательница смотрит на предлагаемый товар. Ей лет шестьдесят. Она из интеллигентных — в очках, в пальтеце, в берете, с газовым шарфиком на шее. За ней другая — эта в толстой синей юбке, черной телогрейке, войлочных ботинках. Седая голова под бордовым платком. Лицо обветренное. Глаза маленькие и злые. Две авоськи в руках набиты свертками, из одного предательски торчит куриная нога.

Оказавшись лицом к лицу с товаром, она бормочет:

— Что ж одни кости-то?

— А вы мне подскажите, где мясо без костей, — доброжелательно предлагает продавец. — Я сам туда побегу.

— Ладно... этот и этот, — тычет она пальцем. — И этот еще. И этот.

— Два кило в руки...

— Миленький, положи! Ведь за сто двадцать километров ездим!

Вот такой магазин.

Но если ты знаком с рубщиком!..

Дневной свет пробивается в щель между обитыми железом створками полуподвального окна. На колоде половина свиной туши. Две целые валяются на полу. Рядом десятичные весы. Стол накрыт мешковиной. Под мешковиной что-то бугрится. Рулон крафт-бумаги рядом. Рубщик Саша — в свитере с закатанными рукавами и некогда белом фартуке.

Откидывает мешковину.

В первый раз трудно поверить глазам, но потом понимаешь: просто здесь другая, совсем другая анатомия свиньи.

* * *

Женя понимал сказочную ценность своего знакомства и не стал бы швыряться им направо-налево. Но существовало еще несколько обстоятельств. Саша уже убедился в его надежности — Женя не предаст, не наведет на него, Сашу, человека из ОБХСС, на Женю можно положиться. Кроме того, видно, что человек понимающий. Вырубая из мертвого животного лакомые куски, можно между делом и потолковать. Например, пожаловаться, что его, Сашу, избрали секретарем комсомольской организации торго,

теперь без конца какие-то никчемные бумажки да кислые посиделки, а ведь как хочется настоящей живой работы. И Женя не станет смеяться, а примет эти слова как законные сетования на тяготы жизни, с которыми всякому приходится как-то справляться. Потому что он хоть и по научно-инженерному или какому там профилю, но все же не совсем без соображения.

Однако Саша приваживал Женю вовсе не ради того, чтобы иметь ученого собеседника. Соловья баснями не кормят, Жене предлагалось покупать мясо — дороже, конечно, чем в магазине, зато такое, какого в магазине не бывает. То есть Женя должен был как минимум раз в неделю, а лучше два раза брать у Саши килограммов, скажем, по восемь.

При этом Жене восемь килограммов в неделю были ни к чему. Он не предполагал питаться одной свиной, пусть даже самой лучшей, не такой уж он был мясоед. Немного разнообразить стол ему бы тоже, в конце концов, не помешало.

И возникало опасение, что, если он станет удовлетворять лишь собственный полукилограммовый интерес, Саша в нем как в клиенте разочаруется. А то и вовсе изгладит его из своей памяти. Кто ее знает, как она там у мясников устроена.

В итоге Жене пришлось взять на себя снабжение свиной всей Семнадцатой партии ЦГЭ — так называлось подразделение, в котором мы тогда работали.

По вторникам и четвергам он уходил со списком заказов, а через пару часов возвращался с добычей и, раскрасневшись от натуги, втаскивал в подвал огромную сумку.

Сотрудники сбегались на дележку. С деньгами вечно путались, тому рубль двадцать сдачи, этому два девяносто. Да кто-нибудь еще и претензии высказывал — дескать, он в кои-то веки просил хорошие отбивные, а ему опять суют поганый окорок. Под знаком свиньи проходила большая часть дня.

Понятно, что скоро Жене все это надоело. Много из того, что начинается униженными просьбами, с течением времени превращается в рутинные понукания, вместо благодарности одни попреки, и зачем тогда самому таскать пудовые оковалки.

Оставив за собой лишь вопросы общего руководства, Женя решил допустить к телу мясника кое-кого из коллег. Каждая вылазка начинающего или малоопытного предварялась таким инструктажем, будто тому предстояло не заглянуть к прикормленному мяснику, а взять Госбанк.

Не обошлось без такового и в тот раз, когда я тоже вознамерился самостоятельно сходить к Саше.

— Да пожалуйста, — покивал Женя. — Конечно, иди. Большое дело. Что не сходить. Это очень просто. Но тогда слушай сюда, я тебе кое-что расскажу. Подходишь к магазину. Внимательно смотришь. Сначала направо смотришь, потом налево. Или наоборот. Но как бы ты ни посмотрел, а если у входа стоит белая «Волга», значит Васильич в магазине. Понимаешь?

— Это директор?

— Да, Васильич — это директор. А Саша много раз просил: если Васильич в магазине, к нему в подвал не соваться. Ему лишние неприятности ни к чему. Поэтому сразу уходишь.

— Ухожу — и что?

— И ничего. Уходишь — и всё. Потом придешь. После обеда. Или завтра.

— Ясно...

— И только если в пределах видимости белой «Волги» нет, осторожноходишь в магазин. Оглядываешься. Смотришь то есть туда-сюда. Колю ведь ты знаешь?

— Это который такой обрубок, что ли?

Фигура грузчика Коли, маломерно-коренастого субъекта в черном халате, и впрямь навела ассоциации, связанные с топором и плахой.

Жене неприятно, что Колю называют обрубком.

— Никакой он не обрубок. Он грузчик. Ладно, ты слушай сюда. Так вот, если Коля в зале, ты подходишь и спрашиваешь: «Васильич здесь?» Но негромко. Не на весь магазин. А так, знаешь, как между своими. Васильич, дескать, здесь? Если он там, Коля так и скажет. На месте, мол. Тогда смотри пункт первый.

— То есть уходить?

— Вот именно. Покидать торговую точку. Топать куда глаза глядят. Понял? Испытующе смотрит.

— Понял...

— И только если Коля говорит, что Васильича нет, спускаешься в подвал. Только в этом случае! Ясно?

— Ясно.

— Смотри же! Это очень важно! — волнуется Женя. — Если Васильич в магазине, в подвал нельзя. Саша сто раз просил попусту не маячить. У него с Васильичем контры. Нам с тобой в них до морковкина заговенья не разобраться. Да этого нам вовсе и не требуется, как ты сам хорошо понимаешь. Потому что...

— Да понял я, понял!

Несмотря на все предосторожности, мой дебют оказался скомкан.

Поначалу все шло как по писанному.

«Волги» не было. Я вошел внутрь. Коля маячил у прилавка бакалеи.

Я прошагал к нему.

— Васильич здесь?

Как ни затруднительно это было при его росте, но Коля все же смерил меня взглядом. Улыбка у него вообще была, как у гоблина.

— Щас, — бросил он и скрылся за дверями.

Это было не по инструкции, и я ждал, смятенно озираясь.

Когда Коля снова вынырнул из недр магазина, за ним шагал человек в белом халате поверх костюма. Он протирал очки платком и подслеповато щурился.

Потом посадил очки на нос, и из-за толстых стекол на меня уставились подозрительные глаза.

Тут как раз и Коля указал на меня нечистым пальцем.

— Вот, Васильич, — просипел он. — Вот этот тебя спрашивал.

Курица с рисом

Была суббота, мы собирались к друзьям на дачу, я помню, как мне хотелось поскорее уехать.

Я беспричинно нервничал. Меня раздражали нелепые промедления — разного рода, но одинаково бессмысленные, не одно так другое, все совершенно никчемное, всякие глупости из тех, что можно сделать завтра или послезавтра, да хоть бы и через неделю, в то время как сейчас надо ехать, не тянуть резину, не размениваться на ерунду, а уже ехать в конце-то концов.

Мне хотелось вырваться из дома, из города, как будто уже было какое-то предчувствие. Но вместо того чтобы встретить грядущее здраво и мужественно, я норовил от него малодушно улизнуть. Разумеется, я не стал бы этого делать, если бы знал наверняка. Но некоторые вещи невозможно знать наверняка, вообще невозможно о них знать, пока они не встают перед тобой в полный рост. А до того лишь брезжат где-то в подсознании, порождая не знание, а беспокойство. И так же подсознательно я стремился избежать чего-то, я ведь еще не знал, что это было нечто такое, чего

избежать нельзя. Можно лишь, наверное, отсрочить, но не в той ситуации, ибо оно уже накатывало, вот-вот должно было настичь и обрушиться, как обрушивается большая волна, которой наплевать, что ты там себе в этот момент думаешь.

Но, повторяю, пока это было лишь предчувствие. Да ведь мало ли какие бывают предчувствия, предчувствия обманчивы, неопределенны, кто в своем уме полагается на предчувствия, никто. Вот я и не полагался, я только хотел как можно скорее доехать, домчаться, это ведь сравнительно недалеко, полчаса, если нет особой пробки, — и тут же выпить, потому что если выпить, то что бы ни случилось, ты свободен, за руль уже не сядешь.

Да и что могло случиться на даче, куда я так рвался? Мобильных еще не существовало, у Тани и Кости за городом был телефон, но мама, кажется, не знала номера, в общем, голову в песок — и дело с концом.

И совсем уже выходили мы из квартиры, совсем уже топтались в прихожей с какими-то сумками, с пакетами, набитыми жратвой и выпивкой, какие обычно берут с собой на такие вылазки, ничего особенного, ничего преступного, просто немного расслабиться.

Совсем уже захлопывали дверь, когда послышался звонок.

И это было счастье, просто счастье, что я не успел удрать.

Я ходил на почту забрать телеграмму. Ее бы и так принесли, но зачем тянуть.

Через три часа я был в Домодедове. Подошел к кассе и без очереди получил билет вместе с сочувственным взглядом.

Всех вещей у меня была лишь наплечная сумка. Я угнездилился за столиком какого-то кафе. Наверняка это кафе как-то называлось, все-таки в серьезном месте заведение, в аэропорту, а не какая-нибудь там безликая придорожная забегаловка. Может быть, это было кафе «Лайнер» или закусочная «Высота», или ресторан «9000» — в том смысле, что большие самолеты летают в среднем на высоте девяти тысяч метров. Или еще как-то оно называлось, или вообще никак не называлось, потому что ни у кого не хватило бы фантазии всю эту мелочь по отдельности называть, так что кафе и кафе, кафе и дело с концом, был бы коньяк, лимон да какой-нибудь салат или что там у вас еще.

Я сидел ипил, пил без спешки, без томившего с утра желания стремительно набраться: как только все определилось, оно растаяло. Теперь предстояло тянуть резину, рейс ночной, а время едва перевалило за обеденное.

Через несколько лет аэропорт реконструировали, он стал огромным, каким и положено быть столичным аэропортам, но и тогда был большим.

Под сводами над моей головой динамики ухали, объявляя окончание регистраций, однако это меня мало интересовало, потому что до моей посадки было далеко. Зато в другом конце здания их скрадываемые расстоянием голоса призывали встречающих встречать прибывших.

Сообщив, откуда рейс, они говорили: встречающих просьба пройти туда-то.

Эта диковинная конструкция никогда прежде не обращала на себя моего внимания, а теперь я снова и снова был вынужден в нее вдумываться.

Встречающих просьба пройти туда-то. Что имеется в виду? Встречающих просьба. То есть, если отменить нелепую инверсию, просьба встречающих. Но какие просьбы могут быть у встречающих, о чем вообще они могут просить? Чтобы самолет благополучно приземлился, и все прибывающие остались живы? Ну конечно, самое время для таких просьб, раньше надо было думать... Просить — это прерогатива прибывших. Но нет, вот опять: встречающих просьба.

Раз примерно на двадцатый я понял, в чем дело. Не «встречающих просьба», а «встречающих просят». Так и есть. Их просят, а не они. Победа разума. Ладно, за это можно выпить.

Из Нижневартовска, Сочи, Баку, откуда-то еще — неважно, откуда бы ни явились прибывшие, встречающих просили ждать у такого-то выхода.

Встречающие не задавали никчемных вопросов, и так было ясно зачем: стоять и готовиться к той секунде, когда прибывшие потекут из широко распахнутых дверей.

Где же, где же он, ожидаемый встречающим прибывший?

И вот прибывший выходит — выходит собранно или, напротив, растерянно, — чтобы тут же покрыть лицо любимого встречающего жадными поцелуями и самому покрыться такими же. Или прижаться ненадолго к влажной от слез щеке встречающего. Или по-братски обняться с встречающим. Или на худой конец просто поздороваться с встречающим за руку.

А то и вовсе не искать в толпе, никого не высматривать, потому что у него, прибывшего, нет отдельного встречающего, он не ожидаемый, о чем ему заведомо известно, — так что он лишь равнодушно скользнет взглядом по безликому сборищу и двинет прямо к выдаче, где, встав у ленты, будет следить за вереницей багажа и невольно волноваться, вернут ли и ему, как другим, сланный чемодан.

Была весна, но погода стояла на удивление солнечная и безветренная, задержек не объявляли, аэропорт жил полноценной жизнью, все куда-то стремились, отбывали и прибывали, в целом желая, вероятно, поменять плохое на хорошее или хорошее на лучшее. Мама таскала детей и катили коляски, папы несли баулы и тюки, командировочные помахивали портфелями. Женщины, мужчины, подростки, старики — весь мир спешил, бежал, опаздывал, нервничал, хотел успеть, — только я был недвижим, а мельтешение жизни траурно вращалось вокруг, словно я был центром вселенной.

Да ну, здесь не нужно никаких «словно», я и был центром вселенной. Странно представить, что им мог быть кто-нибудь еще, каждый человек — центр вселенной, она крутится вокруг него, пока он жив, пока способен понимать ее так или иначе, наблюдать за ее вращением и делать выводы из своих наблюдений — выводы правильные или неправильные, или когда правильные, а когда и не очень правильные, а то и совсем неправильные, в корне противоречащие самим наблюдениям, или, точнее, противоречившие бы, если бы он и в самом деле дал себе труд бесстрастно понаблюдать, — но все это неважно, потому что, когда он умирает, вселенная исчезает вместе с ним, кто-нибудь еще, возможно, некоторое время о ней помнит, но не обязательно, совсем не обязательно, а потом и это кончается.

Я курил — тогда всюду можно было курить, стряхивал пепел в шестигранную стеклянную пепельницу. Когда тление добиралось почти до фильтра, гасил окуроч, топчась им стеклянное дно. Он напоследок искрил и прощально дымился, оставаясь торчать на манер пенька. Или падал набок, как убитый солдат.

Я смотрел на часы, наливал из графина в рюмку, переводил взгляд направо или налево или откидывался на стуле и посматривал туда, где был второй этаж, какая-то галерея, что ли, там свои буфеты, свой коньяк, свои лимоны, но я не поднимался, совершенно нечего мне там было делать, у меня уже все было. Когда все-таки выпивал, то зажевывал долькой, перекалывал глотком чая и снова закуривал.

Я вообще много курил, а в тот день особенно, нужно было ждать рейса, а до него как до Кореи, так что же еще делать, курение занимает время, пока туда, пока сюда. Неспешно полезть в карман, так же неспешно в другой, где же они, вот же они, давно выложил на стол, проклятые привычки. Неспешно вытрясти из пачки одну, неспешно размять, неспешно чиркнуть спичкой, резко потянуть, пустив для пушного розжига технический клуб дыма, затем затянуться уже всерьез — более с отвращением, нежели с наслаждением. Шаг за шагом, step by step, как говорится, вот секунд сорок и протикало. И потом: у меня ведь отец умер, как тут не закурить, поневоле закурить.

Вообще-то это была страшная зараза, я курил много лет и столько же лет мечтал бросить, и время от времени бросал, а потом начинал снова, потому что каждый день, а может быть, и каждый час периода абстиненции (а ведь среди них были и довольно длинные: однажды я не курил год, а потом даже три), а то и каждую минуту этого срока я помнил, что не курю, и хвалил себя за это, и с сожалением думал, как хорошо было бы закурить.

Само слово «бросить» предполагает, что ты что-то бросил, швырнул, кинул: оно улетело и все, больше его нет. Но не тут-то было, желание не оставляло меня, это было такое бросание, когда ты бросил, а это тобой брошенное, вместо того чтобы увиснуть куда подальше, прилипло к ладони, как намазанное клеем. Снова махнул — и опять без всякого толка, так и висит, сволочь, сколько ни маши, просто проклятие.

При этом я не был настоящим курильщиком. Когда говорят «дымит как паровоз», речь идет вовсе не о настоящем курильщике. Настоящий курильщик, наоборот, почти совсем не дымит. Казалось бы, сигарета при сжигании производит определенное количество дыма. Но если просто курящего и настоящего курильщика поместить в комнаты равной кубатуры, то после просто курящего можно вешать топор, а у настоящего курильщика будет такой свежий воздух, что хоть канарейку вноси, она даже не поперхнется.

Настоящий курильщик — человек особой породы. Он живет дымом, он питается им, однажды вдохнув, он его уже не выдыхает. То есть не в том смысле, что совсем ничего не выдыхает, что-то он все же выдыхает, вероятно, ибо его дыхание не пресекается, если бы пресеклось, он бы скоро погиб. Но нет, он не погибает, а, напротив, снова и снова бодро вдыхает табачный дым, хотя с точки зрения законов сохранения его поведение выглядит парадоксально.

А я не был настоящим курильщиком, да и, честно говоря, встречал таковых считанные разы. Я начал курить, потому что хотел стать курящим. Это бывает: сначала хочешь чего-нибудь, потом не можешь избавиться. Так устроено многое в жизни, если не все. Некоторые желания, к сожалению, сбываются, лучше не скажешь.

Я начал в школе, в девятом классе, мы все тогда начали, то есть мальчишки начали, никого из нас не минула чаша сия, разве что некоторые раньше. Если только Петя Сонлейтнер выскользнул из сетей, как-то не могу вспомнить его с сигаретой. Он с нами вообще не очень водился, после школы домой и никаких, он был из немцев, их, скорее всего, сослали в Таджикистан при начале войны, но дело, разумеется, не в родословной. Девочки не курили. Правильнее сказать, что мы об этом не знали. Девочки вообще редко говорят о том, что делают, и только с теми, с кем это делают. Так что если девочки и курили, то не афишировали.

Я помнил, что это было сознательное решение. Собственно, каким еще оно могло быть, бессознательно не закуривают. Можно вообразить, конечно, как гадкий юноша подбивает мальчика, дескать, на-ка вот, попробуй-ка, чего ты как маленький, никакой в тебе взрослой солидности. Нет, ничего похожего, я сам в какой-то момент решил, что надо. Первые две или три сигареты производили буквально огушительное впечатление: о глухоте нечего и говорить, но доходило чуть ли не до слепоты. Однако есть такое слово — надо. Человек ко всему может привыкнуть. Не всегда понятно, зачем он это делает. Но этот вопрос зачастую возникает значительно позже.

Конечно, то, что курили мои друзья, тоже на меня как-то действовало. Правда, никто не бахвалился, вроде того, что вот он такой смелый или там отчаянный, а ты неженка и маменькин сынок, вот и не куришь. Нас было шесть человек, кто-нибудь приставал на время, становилось семь, потом отбивался. Мы увлекались спортом, ходили в секцию ручного мяча, тренировал нас Лыткин, все было всерьез. С конца ноября и всю зиму, когда дождь и слякоть, занимались в зале. Там Лыткин трижды в

неделю грузил нас атлетикой: брусья, перекладина, отягощения, штанга, после двух с половиной часов домой едва плетешься. А чуть теплело, перебирались в Городской парк, там был небольшой стадион, не с той стороны, что к Ленина, а наоборот.

Так вот Лыткин твердил, что спортсмен курить не должен. Правда, сам он, бывало, следующую припалывал от предыдущей, особенно когда мы проигрывали Первой школе. Но себя он уже не относил к выдающимся спортсменам, он подчас и под мухой приходил нас тренировать, совсем уж не по-спортсменски. А я играл угловым, а в ручном играть угловым — это беспрестанная беготня на пределе сил, то и дело в отрыв, каждые три минуты бешеный спурт с языком на плече. Насчет угловых Лыткин особо подчеркивал, что, дескать, угловой без дышалки все равно что машина без мотора или птица без перьев, или что он там говорил, что-то в этом духе. И все наши помнили, что им придется бегать, хоть и не так много, как мне, они ведь не были угловыми. Так что, независимо от того, курил Лыткин или не курил, сами мы курили стеснительно: понимали, что нам бы этого не нужно. Никто не бравировал, да и кой толк, всякий в ответ сказал бы, что дурак, раз такой дурью бахвалишься, кури молча, как все, и дело с концом.

Что интересно, попытки бросить начинаются практически одновременно с попытками начать. И длятся, длятся...

Долго ли, коротко, но и в Домодедове дело пришло к ночи. В сущности, я выпил немного, хоть и потратил на это массу времени. Прежде выпитое в силу длительности процесса уже норовило сказаться похмельем, так что, когда попросили на регистрацию, я в свою очередь попросил еще сто пятьдесят, и побыстрее.

Протек еще час или полтора разного рода толчеи — то к багажной стойке, то в ожидании, когда начнут пускать в самолет. У меня было место «F», у самого окна, я кое-как пролез, чтобы из положения униженной согбенности плюхнуться в кресло. Усевшись, нашарил и вытащил из-под себя концы ремня безопасности. Когда я застегивал его, пряжка щелкнула в ладонях, и это прозвучало так, словно я подвел черту. Еще одну черту. Весь этот день после маминого звонка складывался так, словно я то и дело подводил черту. Какую-то новую черту. Какую к чёрту черту, чему черту? Разве нужно было мне ее подводить? Разве она не была еще подведена? Да и разве мог я ее подвести? На нелепые вопросы не бывает разумных ответов, но так или иначе, а все же затвор ремня лязгнул так, как, наверное, лязгает гильотина.

Посмотреть со стороны, так четыре часа — сущая ерунда, иной раз не успеешь и глазом моргнуть. Тут было дело другое. Не знаю, как у кого, а в моей голове навязчиво звучал Визбор. Все вокруг гудело и подрагивало, сто пятьдесят четвертый Туполев волок нас на высоте пресловутых девяти тысяч метров сквозь кромешный мрак, разреженный лишь его бортовыми огнями да светом нескольких звезд, которые при желании я мог даже увидеть, для этого нужно было лишь нечеловечески скривить шею, прильнуть к иллюминатору и возвести очи горе. Два капитана кагэбэ-э-э... За орденами в Душанбэ-э-э... Всю ночь таранят черноту-у-у... турбины «Ту», турбины «Ту».

Гул, содрогание и мелкий дребезг делали голоса редких неспящих плоскими, как бумага, но все же не вполне заглушали доносившиеся из динамиков бессвязные аккорды и обрывки пения. Правда, это был не Визбор, Визбор наярывал у одного меня. Я знал, что звуковое сопровождение входит в стоимость билета, как знал и то, что на таджикских лайнерах есть только одна кассета: когда кончаются тридцать минут дутара и рубоба, ее переворачивают, тогда еще тридцать интернационального буханья и Пугачёвой, а потом опять рубоб с дутаром. Знал я и то, что будет, если я нажму кнопку на панели. Когда придет стюардесса, а я вежливо попрошу все это выключить, она обеспокоено наклонится ко мне и недоверчиво спросит: вы что, музыку не любите?

Два капитана КГБ за орденами в Душанбе, — снова и снова звучало у меня в голове. Возможно, сознание пыталось противопоставить свой ритм окружающему хаосу. В передней части самолета что-то погромыхивало, там команда готовилась разносить положенное в рейсе угощение, спать я вовсе не хотел, тем более сейчас это не имело смысла, но в самолете краткая дремота случается в самый неподходящий момент, например, перед самой кормежкой, и я вздрогнул, поднимая голову.

— Столик, — повторила стюардесса. — Приготовьте столик.

Я откинул столик, она положила коробку закусочного комплекта и спросила:

— Пить что будете? Томатный, яблочный, вода, вино белое, вино красное...

— Можно две порции вина? — заискивающе попросил я. — И воду.

Девушка взглянула на меня оценивающе, пожала плечами и, налив, поставила три полных стакана. И уже повторяла двумя рядами далее:

— Пить что будете? Томатный, яблочный, вода...

Я смотрел на свой заставленный столик и растроганно думал, какая все-таки хорошая оказалась девушка. Такая, если попросить как следует, может быть даже не стала бы спрашивать, почему я не люблю музыку. Просто выключила бы дребезг в динамиках, и все. Зря я всегда сразу о плохом. Ну да, каждому воздастся по вере его, вот и выходит, что...

Первый стаканчик я выпил почти залпом. Когда он опустел, я поставил в него второй, вдвое уменьшив тем самым количество единиц винной посуды, и потягивал без спешки, время от времени перекладывая глотком воды.

Ближнего соседа у меня по счастью не было, место пустовало, можно было топырить локти сколько влезет, а тот, что у прохода, уже раскрыл свою коробку. Доев салатик из квадратной касалетки, он снял фольгу с прямоугольной.

Там был рис с курицей.

Я отпил еще глоток.

Папа говорил, что в полете ему всегда попадается одна и та же часть куриной тушки — переход шеи в крыло — и называл ее самолетной. Опять, дескать, попалась самолетная часть. Он полагал, что у «Аэрофлота» есть свои курятники, а иначе как объяснить, что в самолетах всегда кормят исключительно курицей. В нашей стране все является продуктом применения хозяйственного метода, а не разделения труда, говорил он, и проще представить, что после рейса пилоты бегут хлопотать в птичник.

Спорить с ним не приходилось, предмет он знал, он был геологом и директором местного отделения научного института, но заниматься наукой и геологией вечно не хватало времени, приходилось строить ангар на территории отделения силами работников отделения или теми же силами собирать хлопок на полях подшефных колхозов, или благоустраивать прилегающую территорию, или делать еще что-нибудь столь же соответствующее профилю.

Я вспомнил Валентину Ивановну, мать моего школьного друга Андрюши Козлова. Она была секретарем райкома, и папа встречался с ней, если его каким-то недобрый ветром заносило на родительское собрание. Потом мы кончили школу и разъехались, папа стал директором, а Валентина Ивановна — секретарем горкома. Теперь они виделись на парткомиссиях, куда отец являлся, чтобы его пропесочили или наложили денежный начет. Потом Валентина Ивановна умерла, Андрюшу Козлова убили в Питере, папа ушел на пенсию, а теперь я лечу в этом самолете.

Я допил воду, а полстакана вина приберег, и закурил. Тогда всюду можно было курить, вот и в самолетах, если рейс дольше полутора часов. Вентиляция сифонила на полную катушку и уносила дым.

Я тупо следил за его быстро развеиваемыми струйками. Когда-то в юности я так же вот летел и думал о чем-то.

Бог вещь о чем я думал, человек всегда, как ему нечего делать, думает о таком, что просто диву даешься. Спроси у него час назад, может ли он предположить, что когда-нибудь задумается над такими-то или такими-то вещами, он бы решительно отрекся.

И вот, впад в состояние такого рода меланхолической медитации, я вдруг увидел струйку дыма.

Я и тогда сидел у окна, а дымок струился, поднимаясь от пола справа, в промежутке между боковиной впередистоящего кресла и округлой стенкой корпуса.

Я заледенел. В самолетном кресле многое приобретает особое значение.

Дым не мог быть ничем иным кроме доказательства, что на борту пожар... не исключено, что тогда тоже пел Визбор: быть может, на каком борту пожар, пробоина в борту острей ножа... нет никакой пробоины, если бы пробоина, нас бы отсюда всех выдуло к чертям собачьим, просто пожар... но все равно это значит, что в самом близком будущем... в ближайшем будущем, буквально через несколько секунд... мы горящей ракетой... дымила падающая ракета... это не Визбор... прочертим небосклон и рухнем... куда мы рухнем?

Я хотел, но еще не успел кинуть взгляд в окно, чтобы понять, куда именно мы рухнем. В принципе, мы могли рухнуть в Каспийское море, по пути в Душанбе мы всегда летели над Каспием, сто раз я его пролетал и видел, он сначала появлялся полупрозрачной линзой в дымке закругления плоской земли, потом валялся внизу сине-голубой шкурой, потом так же неспешно исчезал.

С перепугу я не мог сообразить, уже пролетели мы в этот раз Каспий или еще только приближаемся. Если пролетели, дело швах, потерянного не вернешь, никто не станет возвращаться... да и все равно уж не успеть. Но если не пролетели, Каспий и в самом деле мог бы сейчас оказаться под нами... и тогда бы мы... то есть мы могли бы... при определенной удаче нам удалось бы приводниться!

И тут меня второй раз прострелило: не пожар, а пассажир! Никакой не пожар, а пассажир в переднем кресле, сука такая, надымил своей вонючей сигаретой...

Я невольно улыбнулся. Смех смехом, а тот его давний дымок, безобидный с точки зрения авиасообщения, поставил меня буквально на грань жизни и смерти.

Я стряхнул пепел, затаился, и тут всплыло еще кое-что.

Я вспомнил, как летел рейсом Москва — Пхеньян. Путешествие было настолько многоступенчатым, что не удавалось удержать в голове все промежуточные пункты. Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ были точно. Еще как бы не Чита. И еще три или четыре. Перелет был таким долгим, что стал казаться бесконечным. Вероятно, мы летели по кругу, как еще представить себе это. По идее, мы приземлялись в портах, все более удаленных от пункта отправления и все более приближенных к пункту назначения. Но на шестой или седьмой посадке, выбираясь на летное поле, я всерьез ожидал увидеть на приземистом зданьице аэровокзала огненные буквы МОСКВА, которые с не меньшей непреложностью, чем мене-текел-фарес, подтвердили бы мои ужасные догадки о цикличности этого маршрута.

Собственно, сам я направлялся в Хабаровск, куда следовали еще семь или восемь человек. Все остальные были корейцы, и они летели в Пхеньян.

Сто корейцев оккупировали салон и заняли лучшие места. Мы, то есть жалкая горстка белых людей, забились в самый хвост.

Когда самолет в очередной раз садился для прочистки форсунок, подкрутки штуцеров и дозаправки, пассажиров препровождали из лайнера в зал ожидания. Корейцы в одинаковых пиджачных парах серо-синего цвета (на женщинах вместо штанов были прямые юбки одинаковой длины чуть ниже колена), в одинаковых белых рубашках, с одинаковыми портретами Ким Ир Сена на левых лацканах одинаковых пиджаков заполняли его полностью. От самолета они шли колонной по двое, в зале

колонна теряла порядок, но до конца не рассеивалась: так и прохаживались попарно до объявления посадки.

Но то, как северокорейцы выглядели и на что в массе походили, было, в конце концов, их суверенным северокорейским делом. Однако в самолете все они беспрестанно курили. Дым стлался по салону. Поднимаясь выше, он становился сизыми облаками. Стюардессы плавали в нем, по-рыбьи разевая рты. Мой сосед справа, сын болгарского посла, летевший как раз в Пхеньян и задыхавшийся наравне со мной, разъяснил, что северокорейские сигареты набиты сушеными водорослями и пропитаны синтетическим никотином, поэтому так дымят; источаемый же ими запах вообще не поддается рациональному объяснению...

Я допил вино. Есть не хотелось, но я все же разогнул краешки фольги, чтобы посмотреть. Точно, там была самолетная часть с рисом. Закрыл, подумав, что, может быть, еще будет время перекусить, пусть будет теплым.

Я вытряс из пачки сигарету, шелкнул зажигалкой.

Папа тоже всю жизнь курил. И тоже начал в школе. В сорок с лишним у него был инфаркт. Тогда он бросил. А ближе к шестидесяти случился инсульт. И месяца через три, более или менее оправившись, он вдруг снова закурил. Никто, кажется, не мог понять причины. Лично я объяснял этот факт остановкой мозговой деятельности. Про себя, разумеется.

Утром по телефону мама сказала, что случился инфаркт. Еще один. Теперь уже и последний. Кардиологи говорят — хрустальное сердце. Метафора, передающая степень заизвественности сердечной мышцы. Ну да, с давних пор его давила стенокардия. Но больше он мучился не сердцем, а ногами.

Последствия курения, облитерирующий эндартериит: сужение сосудов, ишемия конечностей. Спал он почти сидя, высоко подоткнув подушки под спину — в таком положении кровь хоть как-то пробивалась к ступням. Врачи говорили, что нужно чистить сосуды. В Душанбе не было нужных лекарств, я пересылал склянки с какими-то снадобьями. Папа ложился в больницу, ему ставили капельницы. Это мало помогало. Или совсем не помогало. Или как-то помогало, но на фоне того, что он продолжал курить, не имело особого значения. На мизинце левой ступни уже несколько лет была гангрена — небольшой кусочек мертвельной плоти. Вообще-то этот некроз мог причинить ему много неприятностей... Просто не успел.

Так обстояли дела. И все-таки папа курил.

Выдвижная пепельница, вделанная в рукоять кресла, была полна, окурки приходилось пропихивать глубже, а то вываливались. Я кое-как погасил очередной. Загорелось табло, самолет шел на посадку.

Я задвинул пепельницу.

Я еще не знал, что выкурил последнюю сигарету.

Потом мама говорила иногда: ты бросил курить, когда отец умер. А чтобы бросил пить, мне, что ли, нужно умереть?

Но я сделал это немного раньше.

Поминальная трапеза

Приотворилась дверь, и я стал смотреть в щелочку.

По сторонам было полно звезд, а в середине стоял длинный стол, в обычном порядке уставленный тарелками, стаканами, рюмками, бутылками, блюдами с фруктами и кое-какой снедью. Признаки некоторой разобранности свидетельствовали о том, что начальная отточенность, выверенность праздничной сервировки уже пошла прахом. Судя по всему, славно отобедав, собравшиеся коротают время за разговорами. Скоро, наверно, чай поспеет.

Все в целом — что-то вроде композиции Тайной вечери. Однако сходство с традиционным сюжетом чисто внешнее, содержание природы иное: никаких тебе нимбов, все простые люди.

Вдобавок хорошо мне знакомые — мои близкие.

В сущности, это просто семейный ужин.

В середине дед и бабушка, рядом бабуся Наташа и второй дедушка, папин папа, я его знаю только по фотографиям. Возле бабуси Наташи ее сестра тетя Валя. Тетя Валя рыжая, из-за чего, как все почему-то были уверены, она не вышла замуж, собственных детей не завела и всю жизнь верно служила бабусе Наташе: та была врачом, много работала, а тетя Валя растила ее мальчиков, моего папу и его брата Бориса. Кстати, Борис тоже здесь, а чуть дальше и его жена Зина, и дочка Аня.

Другая сторона — крыло Воропаевых. Мама — первой возле родителей, рядом с ней папа — он хоть и другой фамилии, но с мамой неразлучен. Дальше мамин младший братя — Михаил и Константин. Потом и Таня, Мишина жена, и их дочь Ленка, и ее пятилетний сынишка Лёшечка. Он совсем дитя, но у него уже нет шансов повзрослеть. Рядом с Костиком его жена Оля и их Танюшка, а возле нее ее сынишка Костя, и у него самого уже кто-то маленький.

Здесь куда больше персонажей, чем на каноническом леонардовском полотне. Все вместе кажется контурами чего-то вроде геометрически сложной, многомерной матрешки. За спиной у каждого сидящего за столом слоятся и множатся смутные тени, и перед ним видны такие же — они так же слоятся и так же множатся. Те, что за спиной, уходят в прошлое — и чем глубже, тем неопределенней их контуры, а эти, столь же неведомые — в будущее, и они тоже бесконечно слоятся и мерцают в неведомой дали грядущего.

Наиболее отчетливо, ярко и выпукло выписаны сидящие ближе к середине. Это те, кого я хорошо знал, кого любил и по кому скучаю.

То есть что значит — выписаны. Ничего не выписаны. Стол мягко освещен, стекло сервировки бросает блики, они сидят там живые, негромко говорят о чем-то. Не знаю, о чем говорят. О чем говорят за столом? Да так, в общем ни о чем особенном, просто радуются друг другу, вот и все разговоры.

* * *

Эту идею не то чтобы замалчивают, но уж точно никому не придет в голову публично ее отстаивать. Рационально недоказуемая, она не выдерживает серьезной критики. Находится масса такого, что разъясняет ее с психологической точки зрения. Короче говоря, ей не устоять против множества неопровержимых доводов, да и вообще на холодную голову она представляется абсурдной.

Тем не менее, одно поколение сменяет другое, восстают и рушатся государства, сами континенты путаются в очертаниях.

А это странное представление остается прежним: человека не покидает смутная уверенность, что мертвые живы. По крайней мере, те из них, кто когда-то был ему близок.

Если спросить прямо, он, скорее всего, не признается. Но втайне ему мнится, что они вовсе не утонули в реке времени, не канули в бездну, не пропали навсегда. Нет, они лишь на время отстранились. Вроде как отошли в сторонку, чтобы попусту не маячить. Или даже не отошли, а, утратив прежние, но обретя взамен некие иные способности, с той же целью отлетели на некоторое расстояние.

Однако и совершив это горестное отдаление, они, несомненно, продолжают существовать. Где-то там и как-то там расположившись, они заняты своими тихими делами. То ли шьют, то ли вяжут, то ли просто рассеянно перебирают дорогие мелочи,

что о чем-то им зримо напоминают. Карандаш ли в пальцах, спица ли, наперсток или просто спичка... отсюда не разглядеть. Между делом негромко переговариваются.

Но чем бы ни занимались, время от времени они посматривают сюда, в эту даль: на тех, кто еще не с ними.

Они безмолвны — разве что временами доносится гаснущий шелест, в котором вот-вот, кажется, различишь их внятные слова.

Однако все вопрошения можно прочесть и во взглядах.

Не забыли нас? Долго вам еще там? Скоро ли освободитесь? Оказавшись вместе, мы смогли бы уже не разлучаться...

Я тоже ловлю эти взгляды, слышу эти тихие вопросы.

Ты-то как? Все не нагуляешься? Совсем темно на дворе, а тебе лишь бы шляться. Смотри, раннее не позднее сведешь. Сколько еще шататься намерен? Все хочешь что-то там выиграть, в чем-то победить? Не надоело? Не понял еще, что в тараканьих бегах все призы тараканьи?

Эх ты, несмышлениш. Ну ладно, ладно тебе. Ну что плакать. Слезами горю не поможешь.

С похожим шорохом стрекозы задевают крыльями метелки гумая.

* * *

Подчас эти образы неотступны, навязчивы.

С течением времени они меркнут. Десятилетиями тускло мерцают на самом краешке разума, на горизонте сознания. Вот-вот, кажется, окончательно погаснут. Но нет, им удастся пережить опасные покушения логики, не поменяв смысла.

Их нельзя счесть ни плодами воспитания, ни отражением той или иной традиции, ибо они свойственны людям не только различных школ, но и, более того, разных народов и религий.

Официальные церкви аврамического корня с завидным единодушием полагают их злостным суеверием. В казенных владениях загробной жизни все они предусмотрели специальные резервации, где мертвым предписано дожидаться грядущего воздаяния. Во всем прочем враждебно относясь друг к другу, они согласны, что нарушение установленного порядка покойниками столь же предосудительно, как для живых лезть без очереди к зубному или садиться в спальный вагон, имея на руках всего лишь жалкую плацкарту.

Но и церкви не могут с ними совладать, ибо эти образы коренятся глубже тех пластов человеческих понятий, привычек и ценностей, совокупность которых создает культуру.

Они пронизывают историю с самых темных ее эпох. Древнейшие археологические находки говорят, что как глубоко ни погрузись в колодезь времени, а и там обнаружишь их следы.

В конце концов вынужденно приходишь к выводу, что они возникли — и возникают — одновременно с сознанием. Если речь о человеческом сознании вообще, то они присущи виду и угаснут лишь вместе с угасанием вида. Если персонально, то в каждом они появляются в раннем возрасте, крепнут по мере развития рассудка, сопровождают всю жизнь и бесследно растворяются в более или менее сжатый или растянутый во времени момент исчезновения личности.

* * *

Философ, утверждавший, что нет более распространенного заблуждения, чем то, что мосты, фонари, собаки и прочие явления вещного мира будто бы существуют на самом деле, возможно, несколько перегибал палку.

Правда, ошибочность его мнения невозможно доказать, ибо с позиций чистого разума даже удар палкой по голове ни в коей мере не является доказательством существования самой палки.

С другой стороны, чрезвычайно трудно отрицать таковое, если тебя бьют по затылку.

Примирить две эти в корне противоречащие друг другу концепции можно только одним способом: признав, что единственное, с чем на самом деле имеет дело сознание — это само сознание, какие бы мосты, фонари, собаки и даже палки в нем ни отражались.

Компромиссный взгляд избавляет от необходимости настаивать, что реальности нет: он позволяет не уничтожить ее, а всего лишь вынести за скобки.

Будучи вынесенной за скобки, реальность не пропадет, не изменится, с ней ничего не случится. Без всякого для себя ущерба она дождетя часа, когда снова станет нам интересной. Тем более что это может случиться в любую секунду.

Будучи вынесенной за скобки, она не мешает сознанию иметь дело с самим собой. И только с самим собой.

Может быть, когда это произойдет, сознанию скоро наскучит столь узкий круг общения? Может быть, оно захочет пригласить кого-нибудь еще?

Нет, сознание самому себе не наскучивает. Оно не томится наедине с собой. И категорически не желает расширять компанию: спасибо, не нужно, ему и так хорошо.

Это и неудивительно.

Завершая творение, усталый Господь решил увенчать свой труд созданием разума.

И создал. Посмотрел, приглядываясь. Потом приказал:

— А ну-ка приблизься...

Разум приблизился.

Господь снова взгляделся.

— Теперь отступи.

Разум отступил.

— Повернись!

Разум повернулся.

И тогда Бог пробормотал в невольном восхищении:

— Клянусь, мне еще не удавалось создать ничего величественнее этого!

* * *

Сознание настолько прекрасно, что ему никогда не надоест глядеться в себя. Никогда не наскучит вертеться перед самим собой, ведь его зеркало отражает само совершенство.

Будь его воля, оно бы только этим и занималось. Оно занималось бы этим всегда, оно вечно предавалось бы самолюбванию, оно до скончания веков находило бы все новые поводы восхищаться собой и новые причины для восторга, и новые ракурсы, с каких по-новому открывается его изумительная прелесть.

Но!..

Вот всегда есть какое-нибудь нелепое «но».

Как это ни глупо, как ни мелко в сравнении с его красотой и грандиозностью, но сознание тоже существует на каком-то физическом основании.

Сейчас не имеет значения, о чем именно идет речь, — о нейронах, химических связях, микротрубочках клеточных органелл или еще каких невидимых и не всем ясных вещах, выступающих поодиночке или единым оркестром. Одни, другие, третьи,

пятые и двадцать пятые: часть из них поведала ученым свои тайны, часть еще нет, кое-какие и вовсе, возможно, не предполагают их открывать.

Такие или сякие, но эти физические основания есть.

Сознание перебегает по ним, как с ветки на ветку перебегает пламя костра. Ветки нужны, чтобы оно могло перебегать и впредь.

Между тем всякий, кто жег костер, знает: рано или поздно ветки сгорают. И если хочется сидеть у огня, нужно бросить в него новые.

Вот и с сознанием похожая история.

Как ни скучно этим заниматься, но чтобы поддерживать собственное горение, ему приходится отвлекаться на собирание палок.

Охота на мамонта, поиск съедобных кореньев, вспашка земли, вообще вся деятельность, итогом которой является каравай или отбивная, а также еще тысячи и тысячи занятий, цели которых не столь очевидны (например, раскладывание пасьянса «Косынка» на экране офисного компьютера), — все они отличаются друг от друга только формой.

Содержание у них одно и то же: это все та же добыча топлива.

Если не подкидывать, пламя погаснет.

К сожалению, это сравнение страдает одним важным изъяном.

Пламя костра будет гудеть и плескаться, пока есть дрова. Можно вообразить, что хворост бросают день за днем и месяц за месяцем. И даже год за годом и век за веком. Тогда все эти годы, все эти века костер будет гореть. Будет гореть, пока не погаснут звезды.

В этом-то и состоит ущерб аналогии.

Ведь сознание устроено иначе: как ни поддерживай его физическую основу, физическая основа все равно когда-нибудь рухнет.

Вместе с ней погаснет и сознание.

* * *

Возможно, сознание как таковое, сознание как феномен вовсе не стареет. Здесь любая точка зрения имеет право на существование, ибо ни одна из них не может быть толком обоснована.

Натурные наблюдения затруднены. Вообще-то разумному наблюдателю удобнее всего следить за самим собой. Однако, к сожалению, разумный наблюдатель зачастую не успевает оставить свидетельства о том, на какой стадии процесса он превращается в наблюдателя неразумного.

Взгляд же со стороны показывает, что сознанию не хочется с собой расставаться. Оно держится, пытаясь следить за собственным функционированием. Оно как будто надеется, что когда-нибудь течение времени утихнет. Время остановится, все встанет наконец на свои места.

Но нет, напор не умеряется, ток времени не становится тише.

Наступает момент, когда сознание начинает пошатываться.

Возможно, для него самого было бы лучше этого не замечать. Но если оно еще достаточно здраво, сознание хватается за собственные руины, как тонущие хватаются за обломки кораблекрушения.

— Я опять забыла.

— Что?

— Как называется...

— Что?

— Такое... в шоколаде.

— Цукат?

- Нет.
- Цукаты бывают в шоколаде.
- Нет, не цукаты. Белое такое.
- Что белое?
- В шоколаде.
- Не знаю... Начинка?
- Да, начинка.
- Ну вот. Начинка.
- Нет. Какая начинка?
- Начинка в шоколаде? Ну... Пралине?
- Вот. Да. Пралине. Да. А то я опять забыла. Пралине. Я запомню. Пралине. Сторонний наблюдатель не успевает далеко уйти.
- Ты слышишь? Я забыла.
- Сторонний наблюдатель возвращается.
- Что забыла?
- Забыла, как называется. В шоколаде.
- Пралине?
- Да. Пралине. Забываю. Пралине. Больше не забуду. Пралине. Не забуду, нет.

* * *

Сознанию невозможно вообразить, что настанет миг, когда оно будет вынуждено расстаться с самим собой.

Сознанию трудно исчезать, мучительно кончаться. Ему не хочется умирать, а хочется быть бессмертным.

Человек — это и есть его сознание. Ничего иного человеческого в человеке нащупать нельзя. На что ни укажи, все это будут какие-нибудь вторичные признаки. Пусть без перьев, пусть даже двуногий — но, если нет сознания, это не человек.

И вот эта смутная уверенность, что мертвые живы...

Я ничем не отличаюсь от других, мне она свойственна так же, как и прочим.

Вся разница между нами только в том, что именно нам представляется.

Один прозревает утраченных близких сидящими на облачке. Другой воображает их гуляющими в зеленых полях. Третий еще как-то.

Я вижу что-то вроде традиционной композиции живописного изображения Тайной вечери.

Длинный стол, открытый к зрителю, блюда с фруктами и кое-какой снедью, стаканы, бутылки и кувшины. Понятно, что сходство чисто внешнее. Содержание природы совсем иное. Ни одного нимба, это все простые люди. Я знал их когда-то. Все они были мне близки. В сущности, это просто семейный ужин.

Они смотрят на меня.

А я смотрю на них.

Сознание не хочет кончаться, поэтому оно склонно считать себя бессмертным.

Паскаль сформулировал так: человек — это мыслящий тростник.

Паскаль тысячу раз прав.

Я бы только переставил слова: человек — тростник мыслящий.

Звучит чуть более систематично, ведь, кроме мыслящего, в природе распространены также тростники обыкновенный, южный и японский.

Все мы многолетние.